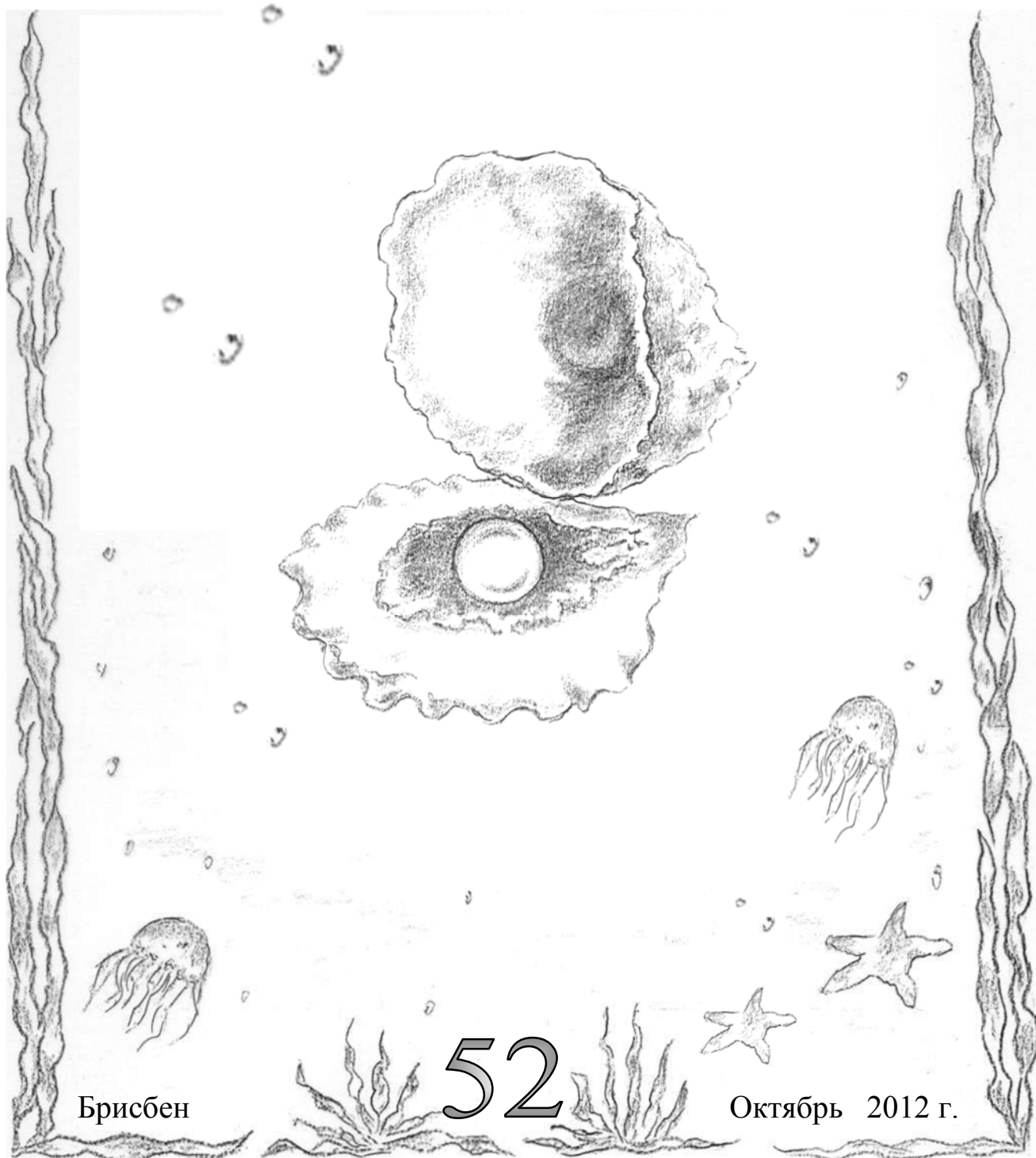


ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 52 Brisbane, Australia, October 2012



Брисбен

52

Октябрь 2012 г.

"The Pearl" / "Zhemchuzhina"

Literary and Educational Journal in the Russian Language.

Published and printed by the editors of "The Pearl" / " Zhemchuzhina"

14 Bridle St., Mansfield, 4122, QLD, Australia.

"Жемчужина"

Литературно-художественный образовательный журнал.

Выпуск - 4 раза в год.

Copyright © The editors of "The Pearl" / " Zhemchuzhina"

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission.

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editors of "The Pearl" / " Zhemchuzhina"

National Library of Australia cataloguing-in-publication data

"The Pearl" / " Zhemchuzhina" - Literary and Educational Journal in the Russian Language.

Index

ISSN 1443-0266

Address: T. Maleevsky
14 Bridle St.,
Mansfield 4122,
QLD, Australia.

ВНИМАНИЕ:

в редакции Жемчужины новый Элек.-адрес

tamaleevpearl@optusnet.com.au

Просьба: посылая работу, обязательно делать пометку -

"For Pearl".

mobile: 0404559294

"Zhemchuzhina" ("The Pearl") is a magazine published at the editor's own expense as a non-profit publication for the Russian society; consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Журнал "Жемчужина" выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Редакция объявляет годовую подписку на журнал на четыре номера вперёд.

Стоимость подписки, включая пересылку по Австралии: \$ 30

2012 г - Двухсотлетие Отечественной Войны 1812 года.

Пожар Москвы в 1812 году

Пою пожар Москвы несчастной!
Нагрязнул новый Тамерлан
И бранью тяжкою, ужасной
Вломился в Кремль, как ураган;
И нет от сильных обороны;
Повсюду страх, повсюду стоны,
Здесь горький плач, там страшный бой,
Везде насильство, притеснение,
Везде убийство, истребление,
Везде грабеж, везде разбой.

Летят под небом с воем, с блеском
По грозным тучам смерть и гром
И разливают пламень с треском
На каждый храм, на каждый дом.
Зияют страшные зарницы
Над высотами всей столицы,
И загорается Москва.
Дым черный стелется, клубится,
И се перестает светиться
Москвы блестящая глава.

Москва несчастная пылает,
Москва горит двенадцать дней;
Под шумным пламенем истлевает
Несметное богатство в ней:
Все украшенья храмовые,
Сокровища их вековые,
Великолепия дворцов,
Чудесных редкостей собранья,
Все драгоценности ваянья,
Кистей искусных и резцов.

Еще двенадцать дней дымилась
Столица славы и отрад.
Пожара искра в пепле тлилась,
Курился нестерпимый смрад.
Повсюду ужасы встречались,
От гибели не исключались
Ни хижины, ни алтари;
От переулка до гульбища
Все претворилось в пепелища,
В развалины и пустыри.

Все истребилось, и сожглися
Гостиный двор и Арсенал,
Сам Кремль с Китаем сотрясился,
И сам царь-колокол упал;
Взорвались башни, сокрушились,
Зубчатые стены развалились,
Скатились с бойниц главы;
Повсюду ужас, разрушение,
Пять взрывов — и в одно мгновение
Не стало на земле Москвы.

Меж тем от голода и хлада
И от насилия врагов
На смрадном пепелище града
Толпы детей, толпы отцов
И сонмы матерей несчастных.
Под сумраками дней ненастных,
Скорбей сердечных не стерпев,
Без всякой помощи страдают
И разной смертью погибают,
Приютной кровли не имев.

Между развалин закоптелых,
Карнизов падших и колонн,
Домов и лавок обгорелых
Глухой, унылый слышен стон:
Там умирающий и мертвый,
Меча иль глады ставший жертвой,
Одни под ветрами лежат;
Никто им не закроет очи,
И только звезды полуночи
Тела усопших сторожат.

Все стогны полны мертвецами
Различных полов, лиц и лет;
Враги с железными сердцами -
И никому пощады нет;
А там толпы полуживые,
Главы седые, вековые,
Как тени с Стиксовых берегов,
Без обуви и без одежды,
Без помощи и без надежды,
Рабами стали для врагов.

И, помня доброе бывшее,
Свою свободу и покой,
Клянут плененья время злое,
Томясь под страшною рукой
Ужасного Наполеона;
И полны пепелища стоны,
И камни смочены слезой;
Страшна спасенья невозможность:
Все превратилось в ничтожность,
Как под содомскою грозой.

Москвы под пеплом погреблись
Седьми веков и труд и ум,
По всей вселенной раздалися
Ее паденье, треск и шум.
Все вопрошали в удивленьи,
Кому Москва себя в забвеньи
Такою жертву принесла,
Которой не было примера,
И страшная такая мера
Кого и от чего спасла...

Отечество? Но без пожара
Великой из земных столиц
Довольно смелого удара
Бесчисленных ее десниц
На поражение супостата:
Россия храбрыми богата,
Полки ее богатырей
Видали в поле Тамерлана.
Ужель Европу от тирана
И от беславия царей?

Тебе венец и почитанья,
Царица русских городов.
Твой плен, твой пепел и страданья
Есть тайна божеских судов;
Не человеческой злой воле
На бранном кроволитном поле
Была должна ты уступить:
Но Бог, казня Наполеона,
Хотел Европу от дракона
Твоим пожаром испупить.

Узря Европы сотрясенье,
Ты длань ей дружбы подала,
Охотно для ее спасенья
Себя всю в жертву отдала;
От уз постыдных искупила;
Но чем Европа заплатила
Союзнице своей Москве?
Москва сама собой восстала,
И снова слава заблистала
На царственной твоей главе.

И следствием твоих страданий
Есть мир и царство тишины.
Уже волканы всех мечтаний,
Завоеваний и войны
Твоим пожаром потушились,
Ужасных силы сокрушились,
Исчез, исчез всемирный трон:
Надежды гордых перестали,
Кумиры слепоты упали,
И пал наш враг Наполеон.

Свобода! Пойте гимн свободы,
Европы славные певцы,
И вы, германские народы,
Сплетайте в честь Москвы венцы;
Сроднитесь с русскими сердцами
И будьте все ее певцами:
Пускай векам передадут
Пожар московский песни ваши
И поздние потомки наши
Венец для ней, как вы, сплетут.

Я духом речь потомков внемлю,
Как отклик радостной молвы:
«Подвигнем океан и землю
Для прославления Москвы,
И в память жертвы незабвенной,
На поклоненье всей вселенной,
Как всех столиц земных главе,
Воздвигнем памятник!»—сказали,
Воздвигнули—и написали:
«Спасительнице царств Москве».

1814

Н.М. ШАТРОВ.



«Молебен накануне Бородинского сражения»

Цветная литография с рисунка Н. Самокиша. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Под изображением печатный текст: «День 25 августа - канун Бородинского боя - прошел в приготовлениях к предстоящему сражению. Все готовились к смерти, понимая, что должно или умереть, или спасти Отечество. Зная твердую и горячую веру русского солдата в помощь Божию, главнокомандующий приказал пронести по рядам чудотворный образ Смоленской Божией Матери»

Генерал-Фельдмаршал Светлейший Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский.

Могила

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампы
(Во мраке храма золотят)
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоём гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас...
Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвеньё
Полкам, оставленным тобой!
Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм – в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

1831 год.

А.С. Пушкин.



М.И. Голенищев-Кутузов.
(16.09.1745г. - 16.04. 1813 г.)



Я хочу остановиться на личности выдающегося российского полководца, генерала-фельдмаршала, полного кавалера ордена Святого Георгия, героя Отечественной Войны 1812 года светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского. Он был героем многих войн, верным сподвижником генералиссимуса графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, светлейшего князя Италийского, а в 1812 году стал спасителем России от наполеоновских полчищ. Именно во многом благодаря полководческому таланту светлейшего князя Михаила Кутузова удалось задержать наступление французской армии, не пустить ее в плодородные районы, а затем в течение нескольких месяцев изгнать из России и начать преследование на зарубежных территориях. Кутузов скончался за пределами России, будучи во главе своей победоносной армии, но был торжественно погребен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, в кафедральном соборе столицы Российской Империи.

М.И. Голенищев-Кутузов родился 16 сентября 1745 года (н. ст.). Окончив Инженерный корпус, он уже в 17-летнем возрасте пополнил роту в Астраханском полку, которой командовал А.В. Суворов. Он принял участие в первой польской войне (1769 г.), затем был переведен в армию Румянцева, воевавшую против турок. В 1770 году участвовал в сражениях при Рябой Могиле, при Ларге и при Кагуле, в 1771 году - в сражении при Папештах. В этом же году он

получил чин полковника. В июле 1774 года, в Крыму, Кутузов был тяжело ранен в голову. После продолжительного лечения он вернулся в Крымскую армию, где вновь оказался под начальством у Суворова, и на этот раз прослужил с ним 6 лет. В 1784 году был произведен в генерал-майоры и командовал корпусом егерей. В августе 1788 года, под Очаковым, Кутузов был тяжело ранен. Пуля попала в голову - в то же место, что и при первом ранении. Врачи не надеялись на благополучный исход, но Кутузов выздоровел и в 1790 году участвовал в знаменитом штурме Измаила в качестве командира одной из девяти штурмовых колонн.

«...Он был на левом фланге моей правой рукой», - отзывался о Кутузове впоследствии Суворов. В своем рапорте о взятии крепости, Суворов писал: «...достойный и храбрый генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером подчиненным и сражался с неприятелем... Голенищев-Кутузов показал опыт искусства и храбрости своей, преодолев под прицельным огнем неприятеля все трудности, влез на вал, овладев бастионом; и когда превосходящие силы неприятеля принудили его остановиться, он, служа примером мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом поражать врагов».

Произведенный в 1791 году в генерал-поручики, Кутузов отличился в битвах при Бабадаге и при Мачине. Он зарекомендовал себя не только своими дарованиями военачальника, но и тонким умом, умением остро спорить и дипломатично разрешать любой вопрос. Поэтому по окончании боевых действий именно на него была возложена ответственная дипломатическая миссия заключить мир с турецким правительством. С конца 1792 г. до марта 1794 г. Кутузов исполнял обязанности петербургского военного губернатора, затем состоял в финляндской военной инспекции. В 1803 году он был вынужден выйти в отставку. Александру Первому не по нраву пришелся престарелый полководец, хранитель суворовских традиций, независимо державшийся и явно не одобрявший реформ, которые проводил царь совместно с Аракчеевым. Однако, в 1805 году, когда в России формировался сорокатысячный корпус для совместных действий с австрийцами против Наполеона, опыт и авторитет Кутузова побудил царя поставить его во главе этого корпуса. Обстоятельства сложились так, что Кутузову пришлось (ввиду капитуляции австрийской армии) вынести на своих плечах всю тяжесть борьбы с Наполеоном, располагавшим гораздо более многочисленной армией.

Стремясь выиграть время, чтобы дождаться подкреплений и одновременно обессилить неприятеля, Кутузов предпринял отступательный марш-маневр. Пройдя в чужой стране под непрестанным сильнейшим давлением французов 400 верст, Кутузов не оставил противнику ни одного орудия; его армия полностью сохранила боеспособность, а во время отхода нанесла ряд серьезных ударов преследователям. Однако дальнейшие стратегические замыслы Кутузова в этой компании были сорваны вмешательством австрийского и русского императора, и после поражения русско-австрийских войск при Аустерлице Кутузов был удален из действующей армии. В 1806 году он был назначен киевским, а потом виленским генерал-губернатором. В 1811 году Кутузова назначили главнокомандующим Молдавской армией. То было время, когда Наполеон почти открыто вел приготовления к вторжению в Россию. Свою задачу Кутузов усматривал в том, чтобы как можно скорее принудить турок к миру и таким образом высвободить сорокатысячную Молдавскую армию для борьбы против французского завоевателя. Эту цель он блестяще осуществил, и притом крайне оригинальными и сложными, чисто кутузовскими методами. Этот мир был подписан в конце мая 1812 года - за месяц до перехода Наполеоном русской границы. Французский император, узнав о заключении мира между Россией и Турцией, целый день неистовствовал. 24 июня более чем четырехтысячная армия французов и их наемников перешла Неман и вторглась в Россию. Началась Отечественная война 1812 года. Кутузов, вернувшись из Молдавии, был не у дел, и царь сперва не хотел давать ему ответственного назначения, предпочитая видеть во главе армии более покладистых генералов. Но русское общество рассудило иначе. Спустя месяц после начала войны Александру Первому пришлось назначить старого полководца начальником Петербургского ополчения, а 20 августа последовал указ правительствующего сената о назначении Кутузова главнокомандующим всеми армиями.

29 августа Кутузов прибыл в действующую армию. Он увидел общее желание армии приостановить отступление и грудью преградить врагам дорогу к Москве. Но он не считал возможным немедленно дать генеральное сражение: не было подходящей позиции и нужно было дождаться подкреплений. Через несколько дней подошло подкрепление (Московское ополчение), и Кутузов решил дать долгожданное сражение, заняв позицию при деревне Бородино, возле Можайска. 5 сентября на Бородинском поле произошло первое столкновение: на левом

русском фланге, у села Шевардино. 7 сентября разыгралось незабываемое в истории сражение. На небольшом клочке земли (фронт русской позиции имел протяжение всего около 8 километров) сошлось в смертном бою около двухсот тысяч человек. Обе стороны соперничали в храбрости и отваге. К вечеру французам удалось несколько потеснить русские войска, но те сохраняли полный порядок. Наполеон не решился оставить свою армию на завоеванных позициях, которые не могли быть укреплены ввиду сташной усталости французских солдат, и добровольно очистил эти позиции, хотя за овладение ими заплатил страшной ценой: 50 000 человек убитыми и ранеными. Русская армия потеряла 42 000, что означало уменьшение ее более чем на одну треть. Правда Наполеон потерял еще больше, но к нему шли крупные подкрепления. Между тем Кутузов не мог рассчитывать в ближайшее время на серьезное пополнение обученными войсками. Поэтому он принял решение отступить дальше от Москвы.

Желая сохранить сильно поредевшую в Бородинском бою армию, Кутузов принял тяжкое, ответственное решение - отдать без нового сражения неприятелю Москву. Он предвидел, что французская армия в Москве будет таять, в то время, как русская будет непрестанно усиливаться. Выведя свои войска посредством блестящего маневра из-под удара противника, Кутузов расположил их у села Тарубино. Здесь они прикрывали Калугу и Тулу и создавали сильную угрозу для неприятельской армии. Соотношение сил с каждым днем складывалось в пользу русских войск. Поняв это Наполеон в середине октября выступил из Москвы. Он пытался прорваться в неопустошенные войной губернии, но Кутузов преградил дорогу у Мало-Ярославца. Город восемь раз переходил из рук в руки, но в конце концов Наполеон прекратил атаки. «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Мало-Ярославце повлекло бы за собою пагубнейшие последствия и открыло бы пути неприятелю через хлебороднейшие наши провинции», - доносил Кутузов императору.

Не пробившись к Калуге, французская армия стала отступать по опустошенной Смоленской дороге. Кутузов вел преследование, ведя войска параллельными дорогами. Понимая, что Наполеону не удастся остановить процесс развала своей армии, и не желая напрасно жертвовать русскими солдатами, Кутузов избегал крупных сражений с неприятелем, но для ускорения этого процесса предпринимал частные наступательные операции. Под Красным Милорадович разбил наполеоновскую гвардию, Кутузов составил план окружения всей неприятельской армии на реке Березине, но Наполеону удалось обмануть адмирала Чичагова и перевести часть своих войск через Березину. В декабре Наполеон покинул свою агонизирующую армию и уехал во Францию.

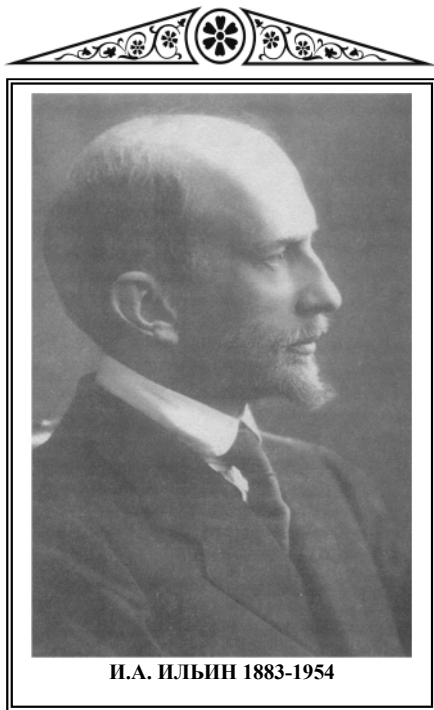
В том же месяце русские войска перешли границу и начали освобождение Европы от наполеоновского владычества. Достойна быть отмеченной забота Кутузова о мирном населении. При вступлении русских войск в Вильно он писал: «Я в особенную обязанность поставил графу Платову обратить всевозможное влияние и употребить все должные меры, дабы сей город, при входе наших войск, не был подвержен ни малейшей обиде». Но вместе с тем он ни на минуту не ослабевал энергии преследования неприятеля. Его обращение к войскам по этому поводу поражают страстностью и могучей силой. «Потушите кровью неприятельской пожар московский!» - говорилось в приказе по армиям от 29 октября. А двумя неделями позже фельдмаршал обращался к войскам так: «Настанет зима, вьюги и морозы; вам ли бояться их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровых погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена, о которую все сокрушается... Идем вперед, с нами Бог, перед нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие».

Русские войска все ближе продвигались к Франции. Кутузов с обычным искусством руководил кампанией. Но ему не суждено было вступить на территорию неприятеля, изгнанного из русской земли. Он заболел и 16 апреля 1813 года скончался в возрасте 68 лет в Бунцлау. Погребен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

(Россия) Сидней 11.09.12

А.Г. Сидоров.





И.А. ИЛЬИН 1883-1954

Книга ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

Без любви

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: сильною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне: «О любви лучше не говорить: ее нет в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит ее в черствых сердцах?»...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и им овладевает. И это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные

силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок прилепляется к матери - потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью; и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него приветов, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чувствует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослою любовью к «ней» (или, соответственно, она к «нему»), то задача состоит в том, чтобы превратить это «пробуждение природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его, как свою судьбу. И не естественно ли ему любить своих детей тою любовью, которой он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей...? Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная выбирающая сила в жизни. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь: это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без любви: она есть великий дар - увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная творческая сила человека.

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только приняв богозданный мир, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты: он творит из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества - внешне-матери-

ального и внутренне-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них Великое - сродное - сопринадлежащее, вчувствоваться в него и создавать новое из древнего и невиданное из предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком - было создано из созерцающего и поющего сердца.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его родину, т.е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов: они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии людей, а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть рожден любовью, он должен быть сам ее воплощением, для того, чтобы находить в ней оправдание и меру. Вот почему я сказал, что ты «и прав и не прав». И еще: я понимаю твоё предложение «лучше о любви не говорить». Это верно: надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь - поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной. А это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушиваемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами...

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.

«Книга тихих созерцаний».

И. ИЛЬИН.

О С Е Н Н И Й Э Т Ю Д



На лугах стога спокойно дремлют,
Даль лежит прохладна и чиста,
И, алея, падает на землю
Звёздочка кленового листа.

Утренник прихватывает лужи,
Хрустка грязь просёлочных дорог,
И упорно в сером небе кружит
Очень одинокий соколог.

Борис Юдин. США

Эскадрон не вернётся в Ростов...

Эскадрон не вернется в Ростов,
И спасение наше – химера,
Ведь лишилась последних голов
Златоглавая русская вера.

«Отче наш» не уймёт упырей,
Напоённых невежеством вдоволь.
И где плыл перевозванный Андрей,
Там сегодня духовный Чернобыль...

Пусть наш плач о Российских венцах -
Не сильнее комариного писка. -
Зажигается в тёмных сердцах
Запоздалая Божия искра.

И открыто смеётся народ
Над навязчивым ленинским бредом.
Но Деникин в Москву не войдёт,
Потому что бандитами предан.

(Россия), США. **Сергей Гора.**



КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если жизнь - необходимость бреда
И корабельный лес - высокие дома, -
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека - он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу - зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

Осип Мандельштам

Пепельница из черепа

Много было их, а не один...
Из болотных топей да трясин
При багровых отблесках зари
На Руси рождались бунтари.
Посвистом запугивал судьбу
Соловей-разбойник на дубу.
И купцов проезжих и бояр
Грабил по дорогам Кудеяр.
Пугачева шапка да кафтан
Долго в снах тревожили дворян.
Но другие были времена,
И другой была моя страна!
Не было плаксивых, жалких слов -
Был топор для бешеных голов!
Их палач за буйны кудри брал,
Над толпой с усмешкой подымал.
Нам теперь понятен этот смех -
Может быть, не всем и не для всех!
Я бы над казненным «Ильичем»
Усмехалась вместе с палачом.
И, с усмешкой глядяваясь в тьму,
Бунтаря-рабочего - пойму,
Соловья-разбойника - прощу.
Я других виновников ищу...
Ведь в стране святых монастырей
Нарождалось много бунтарей.
Ненавистней всех из них один:
Умствующий барин-дворянин.
Я б над дворянином «Ильичем»
Издевалась вместе с палачом.
Этот череп «павшего в борьбе»
Пепельницей сделала б себе!
Но ни топора, ни палача
Не нашлось у нас для «Ильича»...

Марианна Колосова. *Харбин.*

О, подлое, чудовищное время
С кровавыми глазами, с алчным ртом!
Година ужаса!.. Кто проклял наше племя,
Кто осудил его безжалостным судом?..
Пришли мы в мир с горячею любовью
К униженным, к обиженным, ко всем,
Кто под крестом борьбы, сам истекая кровью,
На вопль собратьев не был глух и нем;
Пришли мы в мир с решимостью великой -
Мир погибающий от гибели спасти,
От бойни вековой, бесчеловечной, дикой...
И что ж?.. - Нас распяли, предав на полпути!..
Жизнь умерла. Кто скрылся в катакомбы,
Кто пал в борьбе... Чудовищам-богам,
Что день, приносятся живые гекатомбы
И курится кровавый фимиам...
Ликуют псы, и торжествуют шумно
Жильцы хлебов своей победы час...
И рвется стон из сердца, стон безумный:
"Кто проклял нас? Кто проклял нас?.."

П.Ф. Якубович.

Выслужился

У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.

Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протезировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.

Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего. Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.

- Я с самого начала поняла, что он растяпа, - пела сдобным голосом кухарка. - Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не делай, а на глазах держись. Потому - Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала - в печке не помешал и с головешкой закрыл.

Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:

- Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила - не пито, не едено - пять рублей отдала. За куртку, за переделку портной - не пито, не едено - шесть гривен содрал.

- Не иначе как домой отослать.

- Милая! Дорога-то - не пито, не едено - четыре рубля, милая!

Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.

- Так ведь выть-то еще рано, - снова поет кухарка. - Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила. А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. «Полно вам, - говорит, - Марья Васильевна! Он, - говорит, - не дурак, Лешка-то. Он, - говорит, - форменный адепт, его и ругать нечего». Прямо-таки горой за Лешку...

- Ну, дай ему Бог!

- А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно.

- А и Дуняшка хороша! - закутила тетка рогами. - Не пойму я такого народа: на мальчишку ябеду пуцать!

- Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», - ласково, как по добром. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, - грит, - вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. «Как двери отворять, так ты, - говорю, - не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар»!

- Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья - не пито, не ...

- Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать - так это она швейцар. Да жильцову помаду ...

Трррр... - затрещал электрический звонок.

- Лешка, а! Лешка, а! - закричала кухарка. - Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет...

Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.

«Нет, дудки, - думал Лешка, - в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».

И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты. «Будь, - грит, - на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет?» Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит – жилец дома.

Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.

Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.

«Я парень не дурак, - думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. - Я те глаза намозолю. Я те не дармоед - я все при деле, все при деле!»

Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостыни ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.

- Вот, - сказал он с упреком, - наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.

Гостя вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.

- Ладно, ладно, иди уж, - смущенно успокаивал тот.

И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.

Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.

«Ишь, устались, - подумал Лешка, - должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!» И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.

- Ты чего? - испугался тот.

- Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар... Дворника на лестнице...

- Пошел вон! Идиот!

Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.

- Поймет... - расслышал Лешка, - прислуга... сплетни...

У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:

- Ничего, ничего, мальчик... Вы можете не затворять двери, когда пойдете.

Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.

Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запираеть двери, и, вернувшись, открыл ее. Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы. «Чудак, - думал Лешка, уходя. - В комнате светло, а он пугается!»

Лешка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.

- Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкаф запирает.

Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.

Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был набоку. Он посмотрел на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул: «Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».

Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон полувздых был ему ответом.

Лешка пошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.

- Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах - ни во что не считают! Хоть лоб прошиби...

Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая... «Кошка! - сообразил он. - Ишь, ишь, опять к жильцу в комнату! Опять барыня взбесится, как наемни. Шалишь!» Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату:

- Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!

На жильце лица не было.

- Ты с ума сошел, идиот несчастный! - закричал он. - Кого ты ругаешь?

- Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, - старался Лешка. - Ею в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!

Дама дрожащими руками поправляла съехавшую па затылок шляпку.

- Он какой то сумасшедший, этот мальчик, - испуганно и смущенно шептала она.

- Брысь, проклятая! - и Лешка наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из под дивана.

- Господи, - взмолился жилец, - да уйдешь ли ты отсюда наконец?

- Ишь, проклятая, царапается! Ею нельзя в комнатах держать. Она вчера в гостиной под портьерой... - и Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.

Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.

- Я парень смысленный, - шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. - Смысленный и работяга. Пойду теперь печку закрывать.

На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съезжила, будто на солнце смотрит...

«Что он там делает? - удивился Лешка. - Словно пуговицу на ейном башмаке жуёт! Не... видно, обронил чтонибудь. Пойду поищу...» Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь. Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.

- Ничего там нету.

- Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? - крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.

- Я думал, обронили что-нибудь... Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит. Третьего дня, как уходила, «Я, - грит, - Леша, брошку потеряла», - обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые. - Ну, я пошел, да за ширмой - на столике - и нашел. А вчера опять брошку забыла. Да не я убирал, а Дуняшка... Вот и брошке, стало быть, конец.

- Так это правда! - странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. - Так это правда! Правда!

- Ей Богу, правда, - успокаивал ее Лешка. - Дуняшка сперла, косой черт! Кабы не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю... ей Богу, как собака...

Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.

Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:

- Завтра косому черту крышка.

- Ну-у! - радостно удивилась та. - Рази что говорили?

- Уж коли я говорю, стало, знаю.

На другой день Лешку выгнали.

Надежда Тэффи.

Осень

Ночь. Безбрежная даль синевы,
Миллиарды сверкающих звёзд,
Сонный шёпот осенней листвы
Словно музыку сфер нам принёс.

Я иду по дороге одна,
Нет усталости в лёгких ногах;
Ночь осенняя так хороша,
В Беспредельность зовут небеса...

Нет в осеннем ночном ветерке
Ароматов весенних цветов.
Я несу теперь астры в руке
Вместо ландышей и васильков.

г. Аделаида, Австралия.

Валентина Нагель (Чекальская).



Сто раз помоги – забудут. Один раз откажи – запомнят.

Маленький роман



1 В этот вечер мы встретились на станции.
Она кого-то ждала и была рассеянна.

Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.

Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках - всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было...

Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полосы дождевой воды, голубой от неба.

Платформа была в тени, - солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то шелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики... Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного», - и я пошел.

За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, но корням и утоптаным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.

- О чем вы думаете? - спросила она раз, не оборачиваясь.

- О ваших ботинках, - сказал я. - О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.

- А мне верите?

- Верю...

Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.

- Какой вы милый! - сказала она, - Идет себе и молчит... У меня неожиданный прилив нежности к вам.

Я ответил сдержанно:

- Спасибо. Это в горе бывает. Она широко раскрыла глаза.

- В горе? В каком горе?

- Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас...

- Угадали. Хотите?

Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.

- Нет, - пробормотала она. - Нет... Ради Бога...

И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.

Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди - широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею - и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.

- Дождь! - звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкающему под ливнем лугу.

Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети, - редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с вечернего голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли... Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть - и шорох сразу замер.

Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.

- Попробуйте, как бьется сердце, - сказала она, взяв мою руку.

Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.

Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.

- Это первый и последний раз, - сказала она. - Хорошо?

- Хорошо, - ответил я.

Она пристально посмотрела на меня.

- А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна. Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь...

Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.

- А теперь пойдем, - сказала она.

- Куда?

- Еще немного по лугу...

Я поднял ее - и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга. В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями...

А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня. Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.

В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков. Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас - я даже успел разглядеть ее серые штаники - и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.

- Не к добру, - сказала она, покачав головой. Я улыбнулся.

- Уверяю вас, не к добру, - повторила она просто и настойчиво.

- Что же будет?

- Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами, и особенно этот вечер - я никогда не забуду. Дайте я на прощанье...

Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой... И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра.

Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:

- Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.

- Да? - живо спросил он. - Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна...

Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.

Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:

- Прощайте.

И это было последнее слово, слышанное мною от нее.

П «Дорогой мой, - писала она мне через четыре месяца после этого, - не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти

никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и маленький роман, только и всего. Но все равно, клянусь вам, - если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас...

Что такое эта мириада раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь - это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю...

Вспоминаю все чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу Бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору - я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен мне.

Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.

А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности...

Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле... Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной.

Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупо ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Остановившись, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали - тихо, тихо...

Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега. Тут он остановился и предложил вернуться. Я, назло ему, отказалась. «Не остроумно», - сказал он и, подумав, опять пошел.

Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем. Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.

Раз он окликнул меня, - он все сзади шел, и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку. «Будь ласкова, - несмело сказал он, - заберись мне в рукав и вытяни фуфайку». И мне стало жаль его. Он понял это, отпустил глаза и прибавил: «И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие»... «Разойтись нам надо», - ответила я. Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови: «Трудно это»... «Тогда я возьму на себя этот труд, - сказала я. - Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви». «Я все смею, - сказал он, в упор глядя на меня. - Мне терять нечего». Я отвернулась и пошла...

Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать их лиловые пятна. И над всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее, и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек, - кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого дерева, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу - и тихо перелетел к обрывам налево, в туман...

Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла. А королек спокоен. Его не пугает зимняя

горная ночь. Он проведет ее где придется, предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.

Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой!

Если встретимся, и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости - делайте тогда со мной, что хотите. Нет - так тому и быть...»

Ш Но и это письмо дошло до меня Бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма. Тронуло оно меня, взволновало - ужасно. Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим, и придумал только одно, прости меня, Боже: «Поеду-ка и я через горы на лошадях».

На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет... На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, пронесившейся по ветру мимо окошечка корчмы. Я вынул письмо, перечитал его - и у меня забилося сердце. «Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»

В корчме не сиделось. Я вышел на воздух.

Туман розовел, таял. В мгlistой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков обозначилось что-то радостное, нежное. Оно росло, ширилось, и внезапно засияло лазурью. Надо написать, непременно! Но что? Куда?

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков - целая страна белых рыхлых холмов - развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость - печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости - все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море...

Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди - новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе... Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезающихся на сини пустого неба. А тройка, под заливающимся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.

Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.

Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной. И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье...

А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил - почтой, через Москву - телеграмму из Женева: «Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».

1909-1926

И. БУНИН.



*Ум - это способность находить убедительные оправдания
собственной глупости.*

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Рассказ

Ферапонтов долго и упорно не хотел открывать глаза: пытался продлить сладкий сон. В том сне он как обычно сидел в утренней электричке и ехал на работу в Москву. Проездного с собою не захватил, пришлось покупать билет. Издали еще заметив, как в дверях вагона появилась кондукторша, приготовил нужную сумму и, зажав её в руке, стал рассеянно смотреть в окно, дожидаясь её приближения...

Кондукторша, тучная, слашавая баба с пухлыми красными (он отлично помнил) щеками и небрежно сидящем на ней синем залосненном пиджачке, приближаться, однако, к Ферапонтову не спешила. Неторопливо, как в замедленной съемке, она плыла в междурыдье деревянных сидений, поворачиваясь туловищем то вправо, то влево и вопрошая глухим протяжным голосом: «Ва-аш би-лет, ва-аш би-лет». Во сне этот голос был до того вязким и тягучим, что Ферапонтову казалось, он не расходуется, а как бы слоями расстилается в воздухе. Но вот кондукторша подошла к месту Ферапонтова, повернулась к нему всем своим огромным телом и тихо вымолвила:

- Ва-аш би-лет...

...Что, вне всяких сомнений, означало, что это только его, Ферапонтова, билет и ничей более. Ферапонтов так и понял, поднял на неё от удивления глаза и пробормотал:

- Почему именно мой?

На что кондукторша также тягуче ответила:

- 3-7-5-8-6-1... - как снег на голову.

- Нет, это ни на что не похоже! - возмутился подобному принуждению Ферапонтов.- Почему этот билет мне, а не кому-нибудь другому? А вдруг он не настоящий или прежде использованный?

Сказал, но деньги дал, билет в руки взял и еще раз зачем-то посмотрел на его номер, затем на кондукторшу. Та одарила Ферапонтова таинственной улыбкой и неторопливо поплыла дальше. Ферапонтов от недоумения застыл, а соседка по скамье, бросив любопытствующий взгляд на врученный Ферапонтову огрызок, вдруг оживилась и сказала:

- Боже мой, да вы же везунчик - у вас счастливый билет! Вот поглядите... - и она стала объяснять ему, как определить счастливый ему достался билет или самый что ни на есть обыкновенный.

Ферапонтов внимательно посмотрел на свой проездной и впрямь нашел, что, как и толковала соседка, сумма трех первых цифр его билета равна сумме трех последних. И как только до него дошло это, его тут же охватило какое-то непередаваемое блаженство. С этим настроением Ферапонтов и проснулся. Лежал и никак не мог прийти в себя. Вот ведь какие сны иногда являются..!

Под воздействием примечательного сна прошли и выходные. Ферапонтов был как никогда воодушевлен и весел. Что называется - на седьмом небе. В понедельник поднялся как всегда в половине пятого, вскипятил воду, похлебал чайку, отправился на вокзал.

Вагон еще не наполнился - в Москве работало не так много местных. Набивалось в основном за час до прибытия в столицу; тогда и продыху не было, а пока Ферапонтов даже место себе мог облюбовать. В большинстве случаев он подсаживался к какой-нибудь компании, послушать, посудачить - дорога пролетает быстрее. Сегодня же он никого не хотел ни видеть, ни слышать, хотел остаться наедине со своим новым и необычным настроением, хотел побольше сохранить светлых впечатлений от необычного сна.

Не заметив как, Ферапонтов уснул, и спал крепко почти до самой Москвы. В этот раз ему, впрочем, ничего не снилось, как не снилось ни в субботу, ни в воскресенье, чему сам Ферапонтов, однако, нисколько не удивлялся: он так редко видел сны, тем более такие бесподобные.

Вечером после работы, купив в кассе пригородный билет, Ферапонтов сложил, как положено, номера и нашел, что билет ему достался самый что ни на есть обычный. «Наверное, счастливые билеты так редки, что не стоит и разыскивать их», - подумал он, направляясь к платформе. В электричке он сел и сразу же попытался вздремнуть - чувствовалась усталость. Но сон упорно не шел к нему. Ферапонтов обвел глазами пассажиров. Не найдя в их, как показалось ему, отупелых после рабочего дня лицах ничего привлекательного, снова рассеянно уставился в окно.

Мелькающий за окном вагона пейзаж незаметно усыпил его. Он спал, думалось, вечность, но когда открыл глаза и посмотрел на часы, понял, что минуло всего-навсего каких-то сорок минут. Ехать еще долго-долго.

Напротив него уже сидела пожилая женщина с внучкой. Пассажиры менялись так часто, что Ферапонтов не успевал запоминать их лица. Женщина была полноватой и утомленной. Девочка то и дело вертела головой в разные стороны, то вставала, то садилась, то прикинула на минуту к окну, то дергала бабушку за рукав кофты. Бабушка изредка пыталась её успокоить, но девочка была неугомонна. Наконец бабушка сунула ей в руку свой билет и заставила поиграть с ним. Девочка быстро увлеклась новой игрушкой, залопотала что-то по-своему; то положит билет на сиденье, то возьмет его в руки и размахивает им из стороны в сторону.

Неожиданно она подбросила билет вверх, и тот, плавно колыхаясь, медленно опустился на пол. Бабушка, заметив баловство внучки, тут же дернула её за руку:

- Успокойсь ты или нет!

Ферапонтов поднял упавший билет и с улыбкой протянул девочке:

- Ничего, ничего, бывает.

При этом, протягивая, машинально взглянул на длинный ряд цифр и поразился тому, что, как в ясной задаче, сумма первых трех чисел номера оказалась равна сумме трех последних. Неужели счастливый билет?! Ферапонтов поверить не мог. Он вдавился в деревянное сиденье, как бы сжался весь, и стал пристально смотреть на девочку. «Как же так, - думал он. - У этих людей счастливый билет, а они даже не догадываются о том? Беспечно играют с судьбой, швыряют дар судьбы, как ненужную вещь! Но, может быть, обладай этим билетом, я стану счастливым? Быть может, тот сон не был случайным, а вещим, предсказательным?» Ферапонтову во что бы то ни стало захотелось завладеть этим билетом.

«Так, так, сначала надо узнать, - размышлял он, - далече ли они едут». Ежели далеко, у него еще будет возможность незаметно выкрасть билет. Но если недалеко? Если уже на следующей остановке они встанут? Или через одну? Как уговорить их отдать ему этот билет? Стащить, когда они начнут выходить, - неудобно как-то. Со стороны и вовсе глупо. Выйти с ними? Неизвестно где? Жди тогда часа два следующей электрички! Нет, тут надо что-то другое придумать. Отвлечь как-то девочку и незаметно выхватить у неё из рук злополучный огрызок бумаги, - вообще, скажут, мужик с ума свихнулся! И просить нельзя - как это воспримут? А может, все-таки попытаться? Вдруг они едут туда же, куда и я? Тогда просто обменяться билетами - и всё. Но вдруг нет..? Ферапонтов совсем расклеился. Навязчивая мысль завладеть билетом заполонила его. Уж он пытался и заговорить с девочкой, и притвориться играющим с ней, но одного косога взгляда бабушки было достаточно, чтобы Ферапонтов остыл. Вот незадача!

Чуть позже, видя, что бабушка все-таки отобрала у девочки билет, Ферапонтов решился заговорить с владелицей. Но только он раскрыл рот, как тут же и закрыл его: бабушка так посмотрела на него, что не то, что просить что-либо, вообще говорить с нею Ферапонтову показалось безрассудным. Она могла принять его за ненормального. И впрямь, какой нормальный станет просить чужой билет! Подозрительно.

Ферапонтову стало не по себе. Быть может, это единственный шанс в его жизни - счастливый билет. Он съест его, и жизнь, скучная, однобокая жизнь его станет лучше, прекраснее!

Бабушка все не выпускала билет из рук. Сморщенные утолщенные пальцы её сжимали билет цепко и сильно. С каким бы удовольствием Ферапонтов разжал эти гадкие старушечьи пальцы и откинул в сторону эти высохшие руки: они ведь держат сокровище, сами того не понимая! Бесценное сокровище! И все же надо бы узнать, где они выходят...

Ферапонтов спросил. Старушка подозрительно взглянула на него и сказала:

- Что?

Ферапонтов заранее приготовил ответ, мол, девочке тяжело, дорога нелегкая и прочее.

Старушка понимающе кивнула и простила Ферапонтову его любопытство. Выходить они должны будут раньше Ферапонтова. Положение осложнялось. Ферапонтов не знал, что делать. Он суетливо ерзал на скамье, то так, то сяк приближаясь к билету: наклонится, облокотится о колени - билет прямо перед носом, сверлит его своим счастливым сочетанием цифр. Отвернет Ферапонтов голову к окну, в темных местах стекла отражаются бабкины руки, в одной из которых крепко стиснут билет. Закроет глаза, в мыслях: «3, 7, 5, 8, 6, 1» - как наваждение какое. Уж подумывал вскопчить, вырвать из стиснутой кисти бабки билет и - к проходу сломя голову, да удержало что-то: страх, что ли, благоразумие, или боязнь показаться сумасшедшим.

Меж тем конечная остановка бабушки с внучкой приближалась. Вот уже проехали «105-й километр», миновали «Лесную». Ферапонтов сидел как на иголках, даже пот его прошиб. А

вдруг бабка спрячет билет, уберет, допустим, в сумку - как тогда возьмешь, как из сумки вытащишь? Тут как гром среди ясного неба раздался голос, которому редко кто из пассажиров рад:

- Товарищи пассажиры, приготовьте, пожалуйста, для проверки свои билеты!

Вот оно! Вот оно, непредвиденное! Теперь наверняка не ждешь Ферапонтову счастливого билета! Подойдет контролер, возьмет у бабки билет, продырявит его своим компостером, а то и просто надорвет до половины - пропал билет, исчезло, испарилось счастье! На глазах!

Ферапонтов вдруг понял, что не сможет этого перенести, что не в силах будет воспринять подобного вандализма. Он будто сразу ошалел, решительно подхватился, вырвал из рук онемевшей от неожиданности старушки счастливый билет и побежал стремительно куда глаза глядят...

Старушка тихо охнула, напряглась и вдруг разразилась таким отчаянным воплем, что все пассажиры резко повернули к ней головы. Тут же кто-то, поняв ситуацию, подставил Ферапонтову ножку, кто-то схватил его сзади за пиджак, кто-то впился в рукав, но Ферапонтов и не думал сдаваться, стал пыхтеть, отмахиваться, брыкаться. Нет, им никогда не отнять у него счастливый билет! Никогда!

Из последних сил он вырвался из чьей-то на секунду ослабевшей хватки и проворно сунул бабкин счастливый билет в рот. Он все-таки успеет его съесть, успеет! И станет счастливым, самым счастливым, счастливым, как никогда!..

Игорь БЕЗРУК . г. Иваново..

Москва слезам не верит

Когда под прессом отроческих бед
Я открывал слезам на выход двери,
Мне вслед звучал родительский завет:
Крепись, не плачь, - Москва слезам не верит!

Не помню, кто впервые так сказал, -
Я упрекать несчастного не стану:
Москва всё реже верила слезам,
Зато всё чаще верила обману...

Припав к её священным образам,
Я убиваюсь истиной простою:
Москва давно не верила слезам
И перестала быть святой Москвою...

Сергей Гора.

(Россия), США.

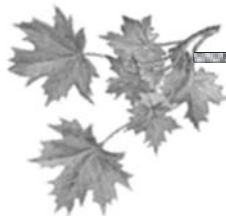
Я ветви яблонь...

Я ветви яблонь поняла,
Их жест дающий и смиренный,
Почти к земле прикосновенный
Изгиб крыла.

Как будто солнечная сила
На миг свой огненный полет
В земных корнях остановила,
Застыв, как плод.

Сорви его, и он расскажет,
Упав на смуглую ладонь,
Какой в нем солнечный огонь,
Какая в нем земная тяжесть.

1926 © **Елизавета Дмитриева**
(Черубина де Габриак)



В золотистом, зардевшемся августе...

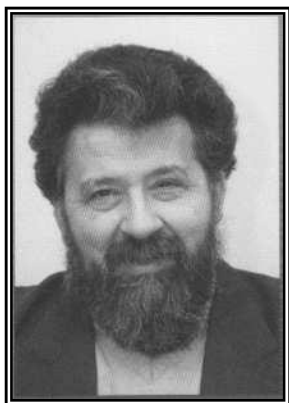
В золотистом, зардевшемся августе,
На нескошенном мятном лугу
День за днем немудреные радости
К вечерам для тебя берегу.
И, встречаясь под темными вязами,
Там, где мрак напоен тишиной,
Забываю о том, что не связано
С тихой ночью, тобою и мной...
День за днем на лугу, босоногая,
Я медвяные травы топчу,
Чтобы вечером темной дорожкой
К твоему прижиматься плечу.
Не отдам никому этой радости,
Не отдам я ее сентябрю, —
В обессиленном, тающем августе
Вместе с летом зеленым сгорю.

Ларисса Андерсен. Харбин.



*Улыбка - это кривая,
которая выпрямляет все!*

Тайна русского слова



Хлеб и жизнь - едины и святы

Прочитывая как-то толкование на Евангелие своего любимого блаженного Феофилакта Болгарского, помню, был поражен тем, что *Вифлеем* в переводе с древнееврейского означает *Дом Хлеба*. Вспомним, ведь Спаситель называл Себя «хлебом, сшедшим с небес» (Мф. 6,41). Оказывается, в тексте Священного Писания нет ни одной «не говорящей» детали: любая мелочь, любой штрих исполнены глубочайшего смысла, открывающегося «*имеющим глаза видеть*». Каждый шаг Спасителя, каждый жест, время суток, название города или местности, число рыб и хлебов, которыми Он накормил алчущих - все-все раскрывает перед изумленным читателем совершенно иные, неведомые прежде глубины Божественного Откровения. Вот и я, прочитав это место у святого толкователя божественного текста, возрадовался еще и потому, что вспомнил, как Господь называл Себя не просто хлебом (который и должен был явиться, конечно же, из Дома Хлеба!), но и *хлебом жизни* (Ин. 6, 48).

Поразительно, как язык наш запечатлел это откровение! Вспомним, слова *хлеб и жизнь*, звучащие в исконно русском как *жито* и *живот*, - однокорневые! Вот и к жизни вечной мы, православные христиане, приобщаемся, находясь еще здесь, на земле, в величайшем Таинстве Евхаристии, вкушая под видом Хлеба Пречистое Тело Христа. Как и в Евангелии, так и в языке нашем извечно едины и святы - *Хлеб и Жизнь*.

Как-то на одной из встреч преподаватели иностранных языков с радостным удивлением поведали мне о том, что многие наши церковные выражения очень трудно, а то и вовсе невозможно точно перевести на иные языки. Например, в английском языке *Благая весть* переводится как the good news (буквально: *хорошие новости*), *благовест* - как ringing of one church bell (буквально: *звон одного церковного колокола*), *покровительница* в буквальном переводе с английского означает *патронесса (patroness)*. Еще более чудовищно переводится на английский язык наше слово *Преображение* - Transfiguration (*трансфигурация*). Нет ничего близкого в английском языке и к названию *Радоница*. Этот праздник ликующего пасхального поминовения усопших на английский приходится переводить описательно: как *девятый день после Пасхи*, или: *поминовение усопших во вторник после Фомина воскресенья*.

Одно из поразительных свойств русского языка состоит в том, что порой даже самое незначительное слово, да что там слово - так, словцо, способно при любовном его рассмотрении засиять гранями невыразимой красоты, свидетельствуя о Творце. Взять, к примеру, слово *пол*. Как часто, заполняя разного рода анкеты и доходя до этой обязательной графы, не преминем шуточно парировать: пиши, мол, паркетный. При этом не осознаем, как высок подлинный смысл этого кратенького словца, которое возводит нас к самому Священному Писанию, к истории сотворения человека...

Вслушаемся: «*И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их*» (Быт. 1, 27). Язык наш запечатлел великую тайну творения, когда человек - это мужчина и женщина как единое целое, как две ипостаси нового *чина*, что сотворил Господь вослед девяти ангельским чинам и «*умалил еси малым чем от Ангел*» (Пс. 8, б). В отличие от тех же малороссийского, английского, азербайджанского и многих иных языков, где понятия *мужчина* и *человек* выражены одним словом, в русском языке слово *пол* означает *половина*. Две половины, мужская и женская, по замыслу Божию о человеке становятся единым целым.

Сравните: в английском языке понятие *пол* человека обозначено несколько иначе - *sex*. Причем примечательно, что слово это не нуждается в переводе, а также и в комментариях. Недаром кем-то подмечено, что, заглянув в пустую комнату, англоязычный человек произнесет: nobody, что буквально переводится как - *нет тела*. В то время как русский скажет: «*ни души*», умудрившись упомянуть бессмертную человеческую душу даже в ситуации, когда речь идет, по сути, о пустоте. Что же касается слова *пол* в ином понятном всем смысле, то оно исходит от древнего способа строительства, когда брали бревно, распиливали его пополам и укладывали эти *половины* рядком плоскими поверхностями вверх.

Невесты и ведьмы

Возьмем еще одно слово: *поцелуй*. Ну что, казалось бы, в нем особенного? Однако и в нем заложен сокровенный смысл - призыв к *целостности* человека, пусть на одно летучее мгновение, вопреки миру, который извечно разделяет людей. Потому и святой апостол Петр призывает нас: «Приветствуйте друг друга лобзанием любви» (1 Пет. 5, 14). И как же разительно это отличается от постыдного зрелища «долгоиграющих» поцелуев в засос, которые с некоторых пор стали непременным атрибутом многих наших свадеб. Когда гости громко ведут счет, становится неловко от мысли - чему ведется этот счет? Может быть, уровню публичного бесстыдства новобрачных? А они ведь только-только приступают к созиданию собственной семьи, которую вера наша издревле именует малой Церковью.

То же понятие *целостности*, как извечное стремление к целостности всего человека, содержится и в коротеньком слове *цель*. Так же, как и *исцеление* - все то же заветное желание о восстановлении человеком утраченного единства брэнной плоти и бессмертного духа.

Замечательный смысл заложен и в слове *невеста*. Каждый раз, задавая в различных аудиториях вопрос о его значении, порой слышишь версии одна «лучше» другой: это и «не ведает что творит», я «неведомо откуда пришла». А ведь значение слова *невеста* - *неведение греха, непорочность*, что означает как духовную, так и телесную чистоту. Тех же, кто сподобился этого страшного *ведения*, на Руси называют *ведьмами*.

Богородица же Наша пребывает присно Невестой Невестной - как символ Превысшей Небесной Чистоты.

Жить «страстями бесстрастными»

Весьма показательно и слово *искусство*, как обозначение той сферы человеческой деятельности, которая наиболее приближена к его душе. Не могу согласиться с теми, кто склонен видеть в основе этого понятия одно лишь *искушение*. Как же тогда быть с божественными искусствами - слова, иконописи, пения, музыки? Скорее, понятие *искуса* - это лишь некий предупреждающий знак для тех, кто вовлечен в сферу искусства. Слишком много встречается здесь лести и похвал, поклонения кумирам. И если Церковь на протяжении веков призывает своих чад жить «страстями бесстрастными», то в земном мире, о котором автор этих строк, поверьте, знает не понаслышке, наличие страстей является нередко чуть ли не главным мерилем таланта.

Отнюдь не случайно в театральной среде бытует невеселая шутка о том, что актер - это человек, которому становится скучно всякий раз, когда в его присутствии говорят не о нем. Вообще сама идея перевоплощения в другую личность, выставление напоказ самых интимных, самых сокрытых движений бессмертной человеческой души - для этой самой души весьма не безобидны. И если нынешнее иноязычное слово *шоу* никак не резонирует с русской душой, то старинное русское название театрального зрелища - *позор* - заставляет о многом задуматься.

Таким образом, само слово *искусство* призвано напоминать творческим людям о том, что они, как никто иной, находятся в непосредственной близости от искушения и, следовательно, им надлежит пребывать в особой духовной резвости. Не у всех получается избежать падений, но таким прославленным отечественным деятелям искусства, как Сергей Бондарчук, Иван Лапиков, Василий Шукшин, Олег Жаков, Анатолий Солоницын, создавшим незабываемые образы русских людей, похоже, это удалось.

В.Д. ИРЗАБЕКОВ.

Октябрь

уж наступил

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъездие поля с охотой своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

А. Пушкин.

КАПИТАН КУК

Хмурые сумерки заглянули в окна. О. Илья зажег лампу, поставил ее на стол у кровати и вновь улегся с книгой в руках. «Вождь упсароков, - читал он, - Храброе Сердце, осторожно прополз по траве с томагауком в руках до опушки леса. Бесшумно раздвинул он ветви кустарника и стал внимательно осматривать местность. Перед ним в бесконечную даль расстилалась зеленая равнина, над которой ярко сияло весеннее солнце юга».

О. Илья опустил книгу.

- Солнце юга! - мечтательно шептал он, наблюдая, как за окном сгущаются ненастные сумерки. В его воображении вставали залитые светом равнины, те безграничные, дикие Пампасы, где всегда бродила его одинокая душа. Ему грезилось, что он мчится по степям на диком мустанге, полный свободы и силы.

Страшный кашель прервал его мечтания, и он затрясся всем худым, тщедушным телом своим. Сквозь кашель ему казалось, что в кухне кто-то разговаривает.

В кухне попадья пахтала масло, кухарка Марья, с толстыми губами и рябым лицом, возилась с корчагами, а у порога стоял низкорослый казак, робкий, с пугливыми, подозрительно бегающими глазами.

- Матушка, - просил он, - доложь!

Попадья сердито вскинула черными, хмурыми бровями.

- Сказала же я тебе, Еремеев, что батюшка нездоров, - произнесла она сухим тоном, - по пустякам нечего и беспокоить его.

Еремеев помолчал.

- До зарезу дошло! - почти вскрикнул он: - хоть на большую дорогу ступай!

Как бы вдохновясь своим горестным словом, он выступил из тени порога на сумеречный свет окна и заговорил горячо, торопливо, отчаянно:

- Матушка! Родная! Поверь Господу Богу! В доме хлеба крошки нету. Жена хворает. Матушка! Выручи! Девочка-то хворающая... в кори лежит.

Попадья спокойно продолжала пахтать масло.

- Про старый-то долг забыл, Яким Василич? - сказала она.

- Родная, Бога молю...

- Бог, смотри-ка, за нас долгов не платит.

- Уплачу! Заработаю! Хлеб молотить или сено возить по осени - только кликни!

- Слышали мы эти сладкие речи! - бесстрастным тоном говорила попадья: - по весне лед возить понадобилось, кого дома не было?

- Родная! На базар ведь я уезжал в Крашениновку. Разве прятался!

Наступило молчание.

В окно смотрело угрюмое ненастье. Дождь ручьями тек по грязным стеклам.

- Матушка! - заговорил казак.

Попадья продолжала свою работу.

- Выручи... родная! - с отчаянием в голосе молил казак.

- Пристал! - рассердилась попадья, бросив мешалку; - как тебе не стыдно! Не крезы мы. Свой сын в духовном училище учится! Все к попу да к попу... пользуетесь его добротой дурацкой! А приди к вам поп за нуждой - дома вас нету!

- От нас-то ведь ты не была обижена, матушка.

- Всех вас на одну веревку связать. - Она опять взялась за мешалку.

Дождь, казалось, усиливался. Монотонно-тоскливо барабанил он в стекла. Слышалось, как скрипела запоздавшая телега, шлепала по грязи лошадь и кто-то ругался. Марья встала босыми ногами на припечек и вскричала:

- Матушка! Взросло тесто-то, так и выпирает!

Попадья занялась тестом.

- Матушка! - просительно говорил казак: что же мне делать-то? На большую дорогу теперь идти? Больше просить не у кого, всю крепость обегал! Выручи! Христа-ради прошу!

- Вот ты Христа-ради просишь! - сказала попадья, - а подай тебе краюху хлеба, ты носом фыркнешь!

- Чего же мне с краюхой-то делать!

- То-то! Все вы так-то! Христа-ради просишь, так хлеба отрежу. А в долг - к другим ступай!

Еремеев больше не вынес.

- Прощенья просим! - сказал он и вышел за дверь. Но затворяя дверь, не выдержал: гнев вырвался у него горьким словом, которое услышала попадья.

- Длинногривые!

Выйдя на улицу, Еремеев с силой захлопнул калитку. Как у затравленного волка, в груди его, под серым чапаном и грязной рубахой, загорелось чувство, до сих пор неиспытанное, чувство протеста, страстного, гневного, отчаянного. Этот протест выразился в граде самых циничных ругательств, которые Еремеев шептал со страстной ненавистью, с побелевшими губами, в то время как полный злобы взгляд его блуждал с предмета на предмет, пробегал по серому небу, по грязной улице, по черным хатам.

- Хоть бы чёрту душу продать! - прошептал он.

Он медленно шел к своей раскрытой хате, не разбирая дороги, и представлял, как мечется в кори Анютка, и с каким лицом встретит его жена. Вдруг он решительно повернул назад и прошел в глухой переулок за поповским домом. Он не сознавал еще ясно, куда идет, но шел не размышляя, не колеблясь, как будто повинувшись вдруг восставшему в душе представлению, услужливо подсказанному памятью и безраздельно овладевшему мозгом. Никто не попадался ему навстречу. Тьма густою пеленой одевала землю. Он осторожно скользил вдоль плетней, инстинктивно стараясь не сделать шума. Дождь то переставал, то вновь принимался идти с удвоенной силой. Еремеев дошел до конца околицы. Перед ним расстилалось поле, покрытое мраком и объятые мертвящей тишиной. На секунду он приостановился, обернулся к поселку, на минуту как будто задумался, но вдруг в новом приступе отчаяния почти закричал:

- Проклятые! Прокляты будьте отныне и до века! Затравили меня! - он быстро и решительно зашагал в сторону от поселка в ночную, ненастную мглу.

Тем временем, едва Еремеев вышел из кухни поповского дома, дверь из зальцы приотворилась, и оттуда выглянул о. Илья.

- Кто тут? - спросил он, осматривая кухню.

- Все свои, - сказала попадья.

- Мне показалось, был кто-то! - он вышел в кухню, мягко ступая ногами, обутыми в валенки, и заложив свои худые руки в карманы подрясника. - Я ведь явственно слышал голос! - говорил он, меланхолически смотря за окно.

- Показалось! - проронила попадья.

- То-то... - он постоял, задумчиво прислушиваясь к шуму дождя, и опять спросил: - Может, был кто, а?

- Господи! Говорю же, нет! - нетерпеливо произнесла попадья: - померещилось тебе. Марью спроси, коли мне не веришь!

- Марья!

- Никовошеньки-никого!

О. Илья взялся рукою за впалую грудь и раза два коротко кашлянул.

- То-то! - сказал он.

Он ушел в зальцу и несколько раз прошелся бесшумно по беленьким половичкам колеблющейся походкой. В окна вползали густые сумерки.

- Не верится мне, - размышлял о. Илья. - Слышал я голос, не мерещилось же мне! Господи, и зачем они всегда врут! - Он присел было на диванчик, но тотчас же опять встал: - Ведь я же явственно слышал голос! Не приходил ли кто хлеба в долг просить? Нужда-то большая. А они... Это так и будет! Чего им жалко какую-нибудь пудовку? С них же берется. Слава Богу, хлеба целый амбар...

Улыбаясь меланхолически, он закашлялся. Потом подошел к окну, раздвинул кисейные занавески и внимательно посмотрел на улицу, на площадь - не идет ли кто от его ворот. Стемнело, но можно было еще рассмотреть, как тучи несутся вверху, подгоняемые ветром. Нигде не было видно живой души. Только церковь высилась среди площади темным силуэтом, вся мокрая от ненастья. О. Илья задумался, глядя в окно и прислушиваясь к шуму дождя. Всем существом своим ощущал он заброшенность. Какие-то яркие картины вставали в душе его, полные красок, полные звуков; охватывал вновь тот мираж иной жизни, которая всегда жила в глубине души его, в тайниках никому недоступных. Солнце юга, блестящее, яркое, леса перепутанные лианами, в которых таятся змея и гиена, бесконечные равнины со стадами бизонов, пасущихся на диком приволье, и палатки охотников, вольных исследователей неизвестных стран, с кострами, с ружейными залпами... Всё это сплеталось в фантастически-причудливую фантазмагорию, сплеталось, расплеталось в душе его. А в окно смотрела на него тоска одиночества, с

грязной площади, с темной улицы, опускалась хмарой с хмурых туч, шептала ему какие-то сказки-были, трепетала в занавесках окон и скреблась вместе с мышью в углу его комнаты. Со вздохом оторвавшись от окна, он колеблющеюся походкой вышел в кухню.

- Катенька! Право, кто-то был у нас! - сказал он; - зачем ты скрываешь? Как это неприятно!

- Неприятно, так и сиди в кабинете, обоймись с своими книгами дурацкими! - рассердилась попадья.

- Что же ты сердишься?

- Скажите пожалуйста! Заботишься, заботишься о нем, а вместо благодарности - «неприятно»! Другая бы попадья давно сбежала от такой жизни. Я только, грешная, терплю!

Он хотел что-то сказать, но махнул рукою и ушел в кабинет. Здесь он опять лег поближе к лампе, взял книгу и стал читать. «Вдали, на краю равнины, - читал он, - Храброе Сердце увидел белеющие палатки. Тогда снова, припав к земле, он, как змея, бесшумно пополз по высоким травам к лагерю». За окном шумело ненастье. Дерево шуршало по окну оголенными ветвями. Где-то сверчок запел. Мышь заскребла...

Утро встало над землей еще ненастнее вечера. Низко ползли хмурые облака, клубились, разрывались, соединяясь в мрачно-серые тучи, из которых мутной пеленой оседал мелкий дождь, похожий на изморозь. Избушки поселка были черны, грязны, несчастны. Все краски природы слиняли, потускнели, стерлись. Тоска тусклым оком смотрела с грязно-серого неба, выглядывала из-за каждого покривившегося плетня, заползала в комнаты через запотелые окна, как убийца, бесшумно нападала на людей и душила их.

Едва о. Илья сел за утренний чай, как к нему явилась скучающая публика. Сначала пришел Антон Антоныч, фельдшер - краснорожий, приземистый человек. Он был мрачен как ненастное утро.

- Голова болит! - сказал он, потирая лоб и как будто вопросительно посматривая на батюшку.

- Мы ее русским средством полечим! - улынулся о. Илья, доставая из шкапа графин. - Катя, принеси-ка закусочки! Надо фельдшера полечить, захвораем - и он нас... того...

- На тот свет вылечит? - подшутила попадья, откладывая шитье и направляясь в кухню за закуской.

Фельдшер слегка расцвел.

- Всемирное средство! - сказал он, кивнув на графин и засмеявшись хриплым смехом: - пословица говорится: кто водочку не любит, тот Богу враг. - Он закачался на стуле от приятного смеха, шурясь на графин, как кот на масло.

Едва появился графин, пришел и дьякон. Говорили, что у дьякона особое чутье развилось от долгой практики, вроде шестого чувства: он водку издали чуял. Дьякон был маленький, с глазами навывкате и совершенно лысый: когда-то жена захотела сделать его кудрявым и помазала пьяному голову чудодейственной мазью. Все волосы вылезли.

- Могу вместить? - сказал дьякон, поздоровавшись и подходя к графину; выпил, сел к столу, погладил лысину, крякнул и вытаращил глаза: это была его всегдашняя привычка.

Тем временем фельдшер совсем расцвел.

- Да... вот, - заговорил он оживленно, поддевая на вилку кусок селедки и отправляя его в рот, - мы вчера с писарем-то, с Капитоном-то Ивановичем, здо-о-рово заложили! Капитон-то Иванович выпить не дура-ак! 0-го-го! Четверть поставь, кончит. Ну, и пошел же он на четвереньках домой. Смотрю в окно ему вслед; что, думаю, такое: теленок - не теленок... А это он - на четвереньках! Да головой-то всё в грязь норовит... - Фельдшер опять заколыхался на стуле от смеха при воспоминании о Капитоне Ивановиче.

- У меня со вчерашнего в голове тоже стукатень идет! - сказал дьякон, выразительно крякнув: - треск!словно там крышу ломают, или из пушек палят. Мне уж дьяконица на неё утром четыре ведра воды вылила; не берет! О. Илья, могу вместить?

Фельдшер поспешил последовать примеру дьякона, после чего совершенно загорелся пламенем.

- А у нас новость, батюшка, - сказал он, - Капитон-то Иваныч хотел сегодня ко мне прийти, да некогда - суд. Вора поймали. На алебастровой горе инструменты украл.

- Чей такой? - спросил о. Илья.

- Еремеев.

Попадья удивленно подняла голову, и краска залила слегка лицо ее. Но она сейчас же спокойно принялась за шитье.

- От них только и станется, - заметила она своим сухим тоном. - Как же его поймали?

- Тут целая история! - засмеялся фельдшер. - Еремеев ночью на алебастровую гору пробрался, спустился в шахту, да инструменты и свистнул. На ту пору Кузьма Помазок с Балабановым вздумали на ночную работу идти. Пришли, хватились - инструментов нет! А Помазок парень вострый, в степи, в походах бывал. «Я, - говорит, - на Аму-Дарье тигров выслеживал, а этому вору меня не проведи!» Прибежал домой, лошадь оседлал, да в город - прямо к сестре. Да у сестры и нарядился бабой... Нарядился это он бабой - и пошел, вышагивает по базару. Там ему кричат: «Тетенька, что покупаешь?» Он и глазом не моргнет. Хвать, а Еремеев-то - вот! Уж инструменты продал и деньги получает... Помазок-то сейчас платок долой, платье снял, да и кричит: «Стой! Узнаешь меня?» Да за шиворот! Привез он его в поселок еще рано поутру, часа два тому назад. Теперь сход скликают: судить будут. Хе-хе-хе! Нет, как это он ловко: цап-царап! Башка этот Помазок..!

- Вышибало номер первый! - сказал дьякон.

- Нужда! - заметил о. Илья с оттенком грусти.

- Нужда! - презрительно передразнила попадьа, - у тебя всё нужда. Народ избаловался, вот что! По моему, мало их порют-то...

- Какие ты всегда глупости говоришь, Катя! - рассердился о. Илья. - Вот богатые мужики не идут воровать. Отчего же всё бедные воруют..?

- А вчера Капитон-то Иваныч еще новость мне сказывал, батюшка, - заговорил фельдшер, нетвердо выговаривая слова: - Андрэ нашелся!

- Что вы! - оживился о. Илья, даже привстав с дивана. - Не может быть! Откуда он вычитал?

- Говорит, нашелся. В леднике будто бы сидел. А летом, как растаяло - вышел.

- Духовный, что ли? - спросил дьякон.

- Воздухоплаватель.

- Во-он... Как он в погреб-то попал?

- Боже мой! Боже мой! - волновался о. Илья, - удивили вы меня. И даже обрадовали, признаться. Нашелся! Дай-то Бог, чтобы это правда была, а не выдумка. Ведь вы поймите, Антон Антоныч, как он науку обогатит! Ведь там за вечными ледяными горами, быть может, новые страны, новые люди, совершенно неизвесные еще науке - растения и животные. Волшебный мир!

- Могу вместить? - пробасил дьякон, торопясь поправить голову; - стомаха ради телесного.

- Пейте, не спрашивайте! - отмахнулся о. Илья, продолжая, обращаясь к фельдшеру: - да, Антон Антоныч! Человек всю землю обошел, в пустыни проник, в леса первобытные, на дно морское спускался, всю природу исследовал... Каждая пташка там, травка, букашка в книгах зарегистрирована. А вот полюс - таинственный мир, неисследованный мир, запрет на него для человека положен. Погодите-ка, я карту принесу... - О. Илья быстро прошел в кабинет.

- Вместим? - оживился дьякон, мигнув фельдшеру на графин, и обратился к попадье: - Матушка! Разрешите. Мать попадьа! При-ложимся к насто-ечке, пото-м и к огурцу! Дьякон запел: «Век на-ш не дол-га-й... \ Вы-пьем по пол-на-й...»

Вслед за тем у дьякона совершенно взмокла лысина, а фельдшер стал походить на повешенного, которого только что сняли с петли.

- Вот! - говорил возбужденно о. Илья, разложив атлас на столе и водя пальцем по карте. - Смотрите: вот Земля Франца-Иосифа. Вот видите, как тут земля обрывается? Дальше ничего не известно. Ничего. А ведь там самые чудеса должны быть. Говорят, там - за ледяными горами - теплое море...

Фельдшер смотрел на карту совершенно посоловевшими глазами и покачивался на стуле, как будто от удивления, а дьякон сказал:

- Не из водки море-то, о. Илья? Вот бы где приходец поддеть! Говорят, есть такие места, где из водки реки текут. Рай...

- Читали вы Нансена? - обратился о. Илья к фельдшеру, садясь на диван: - «Среди полярной ночи»?

Фельдшер хотел сказать «нет», но у него не вышло.

- Нравится мне он! Как увлекательно, ярко рисует он чудеса полярного мира! Вы только представьте себе эту бесконечную, морозную, темную, торжественную безмолвную ночь! Часы бегут, бегут сутки, бегут недели, а всё не светает; всё тихо, всё темно... Только ледяные горы, белея, плывут да сталкиваются с треском, да рассыпаются, разлетаясь в куски. И море бурлит под ними мрачное, черное, как чернила! Белые медведи режут на льдинах. А вверху звезды

горят - большие, яркие! И вдруг по небу взметнется северное сияние - иглами, столбами, переливками... Молчаливо... холодно... таинственно!

- Ах! - вздохнул он, откидываясь на диван, - всюду побывать бы, всё бы видеть, всё бы изведать! Как меня влекло когда-то! Влекло - манило. А судьба-то вот... Я сына непременно в университет направлю.

- Хо-оро-шие страны! - покачнулся фельдшер на стуле, - оттуда к нам исландский мох идет. Хо-ро-о-шее средст-во!

- Водку можно настаивать? - спросил дьякон.

- Нет! - мотнул фельдшер головой так, как будто он хотел покатить ее по полу вместо шара.

- Значит, дрянь. А ты хвалишь! Вот анис - чудесная штука. Такая из аниса настойка выходит, что я, брат, какой питок - и то рот разеваю. Яко рыба. - Тут дьякон вытаращил глаза: - Могу вместить?

- Кушайте, о. дьякон, - говорил о. Илья, мечтательно смотря куда-то за окно горящим взором. - Антон Антоныч, поправляйтесь!

- Уж-ж я... поп-рра... - бормотал фельдшер.

- Антоха! - зывал к фельдшеру дьякон: царанем! За Андрея... чтобы в погреб не попадал!

- Цар-ра-а... - бормотал фельдшер; - толь-ко у меня... гол-лова... чего-то...

- Пустяк! От водки всякая голова проходит! Глотни из теплого моря, всё пройдет!

Выпив рюмку, дьякон сказал:

- О. Илья... - он слегка наклонил голову и замотал ею: - Не нажить тебе с Куком добра!

- С каким Куком, о. дьякон?

- Известно, с каким. С капитаном Куком! Который по водам плавал. Тебе-е на вода-а-х! По нашей духовной части другая прокламация полагается. Пятак - рядовой, гривенник - фельдфебель. Двугривенный - майор, полтинник - ротный. Рупь - капитан. А мы - генералы! Стройся, равняйся, руки по швам, полезай в карман! Тут оно и забренчит, в кармане-то, как у царя Соломона! А с Куком - пропадешь, потому он, Кук-то, по морской части. А мы - по духовной.

Дьякон хитро сощурил на о. Илью глаза. Потом, забывши, что сейчас только выпил, опять принялся ловить графин, говоря:

- Могу вместить? О. Илья! Во здравие души и тела. У меня всё еще треск!

Он пролил рюмку, и стал наливать другую, бормоча:

- Фельдшер! Антоха! Др-ру-г... Вместим... За Андрея... за Кука... за теплые моря... в сорок градусов. - Он выпил рюмку и закончил: - и за всех ар...хиереев..!

Поставив рюмку на стол так, что она упала на бок, он, не заметив этого, стал смотреть в пространство. Фельдшер, лоя селедку, попадал вилкой в варенье и бормотал:

- Ку-у-к... Сила не в Ку...ке... Тут - наука, бра-т!

В это время приотворилась дверь из кухни, и кто-то позвал о. Илью.

Едва о. Илья вышел, как в ноги ему упала бедно одетая женщина, заплаканная до опухли лица...

Продолжение следует.

Гусев-Оренбургский.

СУМЕРЕЧНЫЙ ДЕНЬ



То, что пробивалось сквозь густо-серую плотную пелену облаков, своей непроницаемостью подобной воде в глубине колодца, вряд ли можно было назвать солнечным светом. Дневной свет был настолько тускл, насколько мелки были брызги измороси, окутавшей город, и казалось, что для того, чтобы просочиться сквозь мелкое сито облачности, каждому крохотному лучику света приходилось толкать перед собой дождевую пылинку. Утро не наступило, и до самой ночи день утопал в сумерках, как утопал он в измороси, наполнявшей воздух, но никак не желавшей осесть на землю. От дождя невозможно было укрыться - казалось, что даже сквозь окна влага проникает в комнату... День был мрачен, тускл и сер.

Александр Смирнов. Ярославль.

От редакции**О статье Юлии Климычевой - «Язык русского Харбина»**

Давно хотелось высказать сожаление по поводу того, насколько испорчен современный русский язык. Не так давно пришлось услышать от одной из российских эмигранток такое заявление: «Непринятие нововведений в русском языке есть... *отсталость*». Что же можно ответить на эти слова? И стоит ли повторять то, что уже не раз писали и говорили на эту тему? Разве напомнить главное...

Достижения современной науки и техники бесспорно диктуют свою особую, специфическую терминологию, которая проникает во все языки мира. Но когда в ежедневной речи обычных русских людей внедряются инородные паразиты-словечки, такие как *эквиваленты*, *адекваты*, *эроганты* или, в качестве высшей похвалы, прости Господи, *супер* (всего не перечить!), бессовестно вытесняя прекрасные русские, причём точные, ёмкие слова... то право, лучше оставаться в рядах «отсталых», нежели позволить себе сознательно уродовать чудесный родной язык.

Вскоре после памятного разговора об «отсталости», прочитала в газете «Амурская Правда» статью Юлии Климычевой «Язык русского Харбина» (Благовещенск, 11 фев.2010 г. № 23).

Талантливый репортёр Климычева, беседа с Еленой Оглезневой, автором недавно изданной книги «Русский язык в восточном зарубежье», сообщает, что Оглезнева является заведующей кафедрой русского языка АмГУ, и защитила по этой теме докторскую диссертацию.

Никому не секрет, что с некоторых пор русский Харбин считается уникальным явлением в истории и культуре России, где всё больше и больше пробуждается интерес к потерянной, вернее, отнятой части её судьбы.

Вот, что рассказывает Оглезнева о своей книге.

«Монография носит научный характер, но она останется как память о тех людях, которые стали ее героями. Это последние русские харбинцы, с которыми встречались во время поездок, записывали их речь. Замысел - показать уникальность Харбина через личности людей. Если культура и язык западной ветви российской эмиграции исследовались учеными, то восточное зарубежье долго оставалось «белым пятном»... «Несмотря на изоляцию (ведь Харбин уже много лет был китайским городом!), - говорит Оглезнёва, - они (харбинцы – *ред.*) сохранили очень хороший русский язык. Хотелось более глубоко осмыслить причины неординарности этой языковой ситуации».

«Человек непосвященный, - поражается Климычева, - сразу задается вопросом: русские люди, говорят, как мы с вами, что тут изучать?».

«Такой же вопрос возник и у нас при первом общении, - отвечает Оглезнёва. - Но специфика в речи этих людей все же была: их язык существовал в определенной консервации, и его чистота была очевидна - в их речи применялись устаревшие обороты, выражения, свойственные художественной литературе...».

Много интересного рассказала Оглезнёва в своём интервью о последних представителях русского Харбина, о встречах с ними. Особенно радуют её удивительные замечания: «Для нас... главным открытием стало столкновение с людьми иного исторического опыта, которые сохранили свою русскость и оказались даже большими патриотами России, чем мы, ее сегодняшние жители. Родной язык был для них символом утраченной Родины. Сохраняя язык, они сохраняли Родину в себе. ...Они не были сломлены духом, несмотря на бедность, одиночество и жизнь без Родины. Им помогала православная вера, она лежала в основе их духовности».

Напоследок Оглезнёва поделилась с репортёром: «...Думаю, что она (книга – *ред.*) появится в книжном киоске АмГУ и в книжных магазинах города. Сейчас ее можно спрашивать на кафедре русского языка АмГУ. Тираж – 500 экземпляров.

«...Будет ли какое-то продолжение темы?» – спрашивает автора Юлия Климычева.

«Чем больше занимаешься этой темой, тем больше находится в ней новых любопытных для исследования сторон, - отвечает Оглезнёва. - ...Сейчас мы работаем над словарем харбинской лексики - тоже памятник своего времени. Полагаем, он будет интересен не только харбинцам. Реалии жизни познаются через слово, и словарь поможет сделать образ русского Харбина более полным и зримым.»

От имени «Жемчужины», позвольте выразить Елене Оглезнёвой искреннюю благодарность за исследовательскую работу и высокую оценку культурного наследия харбинцев. Пусть её труд вдохновит и поддержит всех тех, кому дороги чистота и самобытность русского языка и кто всеми силами стремится защитить его от влияния американизмов, уродующих чудесную русскую речь.



Т. Малеевская.

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Продолжение

iv ...Прошло еще три или четыре сеанса. Надежда Николаевна приходила ко мне в десять или одиннадцать часов и оставалась до сумерек. Не раз я просил ее остаться пообедать с нами, но она всегда, как только кончался сеанс, поспешно уходила в другую комнату, переодевалась из синего платья в свое черное и тотчас же прощалась.

Ее лицо за эти несколько дней сильно изменилось. Какое-то мрачное и тоскливое выражение замечалось около ее губ и в впадинах ее серых глаз. Она редко говорила со мною и немного оживлялась только тогда, когда в мастерской сидел за своим мольбертом Гельфрейх, продолжавший, несмотря на мои уговаривания приняться за что-нибудь серьезное, писать одну кошку за другой. Кроме рыжего натурщика, в нашей квартире откуда-то появилось штук пять или шесть разнообразного возраста, пола и цвета кошек, которых Агафья Алексеевна беспрекословно кормила, хотя и вела с ними непрерывную войну, выражавшуюся преимущественно в том, что она, забирая их по нескольку под мышку, выкидывала на черную лестницу. Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое сердце нашей домоправительницы не выдерживало: дверь отворялась, и натурщики снова овладевали квартирой.

Как живо вспоминаются мне эти долгие, тихие сеансы! Картина подходила к концу, и тяжелое, неопределенное чувство закрадывалось постепенно в мою грудь. Я чувствовал, что, когда Надежда Николаевна перестанет быть нужна мне как натурщица, мы расстанемся. Я вспомнил наш разговор с Гельфрейхом в день его переезда; часто, когда я вглядывался в ее бледное, мрачное лицо, в ушах моих звенели слова: «Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее!»

Вытащить ее! Я не знал о ней почти ничего. Я не знал даже, где она живет. Она переехала со старой квартиры, куда провожал ее Гельфрейх после вечера нашей встречи, на другую квартиру, и Сеня не мог добиться от нее - куда. Ни он, ни я не знали ее фамилии.

Я помню, как однажды я спросил ее об этом на сеансе, когда Гельфрейха не было. В то утро он ушел в академию (я заставил его хоть изредка ходить в этюдный класс), и мы целый день провели одни. Надежда Николаевна была немного веселее обыкновенного, немного разговорчивее. Ободренный этим, я осмелился сказать:

- Надежда Николаевна, я до сих пор не знаю, как ваша фамилия.

Она как будто не заметила моего вопроса. Неуловимая тень пробежала по ее лицу, и, на мгновение сомкнув губы, как будто что-то поразило ее, она продолжала говорить. Она говорила тогда о Гельфрейхе, и я видел, что она подыскивает сказать что-нибудь, чтобы заговорить меня и замять мой вопрос. Наконец она замолчала.

- Надежда Николаевна, - сказал я, - скажите, за что вы не доверяете мне? Показал ли я хоть чем-нибудь...

- Оставьте это, - печально ответила она. - Я не доверяю вам? Полноте... Зачем мне вам не доверять? Что можете вы сделать мне дурного?

- Отчего же вы...

- Оттого, что не нужно. Пишите, пишите, скоро темно будет... - сказала она, стараясь говорить веселее. - И Семен Иванович скоро придет; что вы ему покажете? Вы сегодня ничего не сделали. У нас и так все время проходит в разговорах.

- Успеем... я устал... Если угодно, сойдите с места. Отдохните немного.

Она сошла с места и села на стул, стоявший в углу. Я сел на другом конце комнаты. Мне страстно хотелось поговорить с нею, расспросить ее, но я чувствовал, что с каждым сеансом это становится труднее и труднее. Я смотрел, как она сидела, сгорбившись, охватив колени сжатыми руками и опустив неподвижные глаза в какую-то точку пола. Один из Сенечкиных котов терся около ее платья и дружелюбно засматривал ей в лицо, напевая свою добродушную и тихую песенку. Она, казалось, оцепенела в этой позе... Что делалось в этой гордой и несчастной душе?

Гордой! Да, не пустое слово сорвалось у меня с пера. И тогда я уже думал, что ее гибель произошла оттого, что она негнулась. Быть может, сделав какую-нибудь уступку, она жила бы, как все, была бы интересной барышней «с загадочными глазами», потом вышла бы замуж, потом погрузилась бы в море бесцельного существования бок о бок с супругом, занятым необычайно важными делами на какой-нибудь службе. Она наряжалась бы, устраивала у себя журфиксы, воспитывала бы детей («сын в гимназии, дочь в институте»), занималась бы слегка

благотворительностью и, пройдя назначенный ей Господом путь, дала бы своему супругу случай уведомить на другой день в «Новом времени» о своем «душевном прискорбии». Но она выбита из седла. Что же заставило ее сойти с проторенной колеи жизни «порядочной женщины»? Я не знал этого и мучительно старался прочесть что-нибудь на ее лице. Но оно оставалось неподвижно, все так же глаза ее были устремлены на одну точку.

- Я отдохнула, Андрей Николаевич, - вдруг сказала она, подняв голову.

Я встал, посмотрел на нее, потом на холст и ответил:

- Я сегодня не могу больше работать, Надежда Николаевна.

Она взглянула на меня, хотела что-то сказать, но удержалась и молча вышла из комнаты, чтобы переодеться. Помню, что я бросился в кресло и закрыл лицо руками. Тоскливое, непонятное мне самому чувство влилось мне в грудь; смутное ожидание чего-то неизвестного и страшного, страстное желание сделать что-то, в чем я сам не мог дать отчета, и нежность к этому несчастному существу, вместе с каким-то боязливым ощущением, которое она поселяла во мне своим присутствием, - все слилось в одно давящее впечатление, и я не помню, сколько времени провел я, погруженный почти в полное забытие.

Когда я очнулся, она стояла передо мной уже одетая в свое платье.

- До свиданья!

Я встал и подал ей руку.

- Подождите немного... Мне хочется сказать вам кое-что.

- Что такое? - спросила она озабоченно.

- Много, много, Надежда Николаевна... Посидите вы хоть один раз, Бога ради, не как натурщица.

- Не как натурщица? Чем я могу быть для вас еще? Не дай Бог быть мне для вас не натурщицей, а тем, чем я была... чем я есть, - быстро поправилась она. - Прощайте... Вы скоро кончите картину, Андрей Николаевич? - спросила она у дверей.

- Не знаю... Я думаю, еще недели две или три я буду просить вас бывать у меня.

Она молчала, как будто не решаясь сказать мне, что хотела.

- Вам что-нибудь нужно, Надежда Николаевна?

- Не нужно ли еще кому-нибудь... из ваших товарищей... - проговорила она, запинаясь.

- Натурщицы, - перебил я. - Я постараюсь устроить это, непременно постараюсь, Надежда Николаевна.

- Благодарю вас. Прощайте.

Я не успел протянуть ей руку, как позвонили. Она побледнела и опустилась на стул. Вошел Бессонов.

Х Он вошел с веселым и развязным видом. Мне показалось сперва, что он немного похудел за эти несколько дней, в которые мы не виделись; но через минуту я подумал, что ошибся. Он весело поздоровался со мной, поклонился Надежде Николаевне, которая продолжала сидеть на своем стуле, и заговорил очень оживленно:

- Я зашел посмотреть. Меня очень интересует ваша работа. Мне хочется узнать, действительно ли вы можете сделать что-нибудь, даже и теперь, когда у вас есть модель, лучше которой, кажется, вам ничего не нужно.

Он мельком взглянул на Надежду Николаевну. Она сидела по-прежнему. Я ожидал, что она уйдет, и мне хотелось этого, но она оставалась, как прикованная к своему стулу, молча, и не спускала глаз с Бессонова.

- Это правда, - ответил я. - Лучше мне ничего не нужно. Я очень благодарен Надежде Николаевне за ее согласие.

Говоря это, я откатил мольберт от стены и поставил его как следует.

- Можете смотреть, - сказал я.

Он впился в картину глазами. Я видел, что она поразила его, и мое авторское самолюбие было приятно задето.

Надежда Николаевна вдруг встала.

- До свиданья, - сказала она глухо.

Бессонов порывисто обернулся и сделал несколько шагов по направлению к ней.

- Куда же вы, Надежда Николаевна? Я так давно вас не видел, и когда встретился с вами здесь почти случайно, вы как будто бежите от меня. Подождите хоть немного, хоть пять минут: мы выйдем вместе, и я провожу вас. Я никак не мог вас найти. На вашей прежней квартире мне сказали, что вы уехали из города; я знал, что это неправда. Я справлялся в адресном столе, но

там еще не было вашего адреса. Я хотел справиться еще раз завтра, надеясь, что ваш адрес там уже должен быть; но теперь, конечно, это не нужно: вы сами скажете, где вы живете; я провожу вас.

Он говорил быстро и с новым, неизвестным еще для меня в его устах, оттенком нежности. Как не похож был его настоящий тон на тот, которым он говорил с Надеждой Николаевной в тот вечер, когда мы с Гельфрейхом столкнулись с ними обоими!

- Не нужно, Сергей Васильевич, благодарю вас, - ответила Надежда Николаевна, - я дойду и одна. Провожатых мне не нужно, а... с вами, - тихо договорила она, - мне говорить не о чем.

Он сделал движение рукой, хотел сказать что-то, но только один какой-то странный звук вылетел из его груди. Я видел, что он сдерживает себя. Он прошел несколько шагов по комнате и потом, обернувшись к ней, тихо сказал:

- Ступайте. Если я вам не нужен, тем лучше для нас обоих... может быть, для всех троих...

Она ушла, слабо пожав мою руку. Мы остались одни. Скоро пришел Гельфрейх; я предложил Бессонову остаться с нами обедать. Он отвечал не сразу, занятый какою-то мыслью, но потом вдруг опомнился и сказал:

- Обедать? Пожалуй... Я давно у вас не был. Я хотел бы сегодня разговориться.

И он действительно разговорился. В начале обеда он большею частью молчал или давал отрывистые реплики Сенечке, без умолку говорившему о своих котах, которых он непременно бросит, и о том, что нужно же наконец приняться за настоящую работу; но потом, может быть под влиянием двух стаканов вина, оживление Гельфрейха сообщилось и ему, и я должен сказать, что никогда не видел его таким живым и красноречивым, как за этим обедом и в тот вечер. Под конец он вполне овладел разговором и читал нам целые лекции о внутренней и внешней политике; два года писания передовых статей по всевозможным вопросам сделали его способным говорить весьма свободно обо всех этих вещах, о которых мы с Гельфрейхом, занятые своими этюдами, знали очень мало.

- Семен Иванович, - сказал я, когда ушел Бессонов, - ведь Бессонову известна фамилия Надежды Николаевны.

- Почему ты знаешь? - спросил Гельфрейх.

Я рассказал ему сцену, происходившую до его прихода.

- Что же ты не спросил его? Впрочем, я понимаю; я узнаю сам...

Почему я в самом деле не спросил Бессонова? Я и теперь не могу ответить на этот вопрос. Тогда я еще ничего не понимал в отношениях его к Надежде Николаевне. Но смутное предчувствие чего-то необыкновенного и таинственного, что должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотел остановить Бессонова в его горячей речи об оппортионизме, хотел прервать его изложение спора о том, развивается ли в России капитализм или не развивается, но всякий раз слово останавливалось у меня в горле.

Я сказал это Гельфрейху. Я сказал ему это так:

- Я сам не знаю, что мешает мне говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю, что...

Сенечка, ходивший по комнате, помолчал, подошел к темному окну и, смотря куда-то в черное пространство, ответил:

- А я знаю. Он презирал ее, а теперь начинает любить. Потому что видит... О, какое черствое, эгоистическое сердце и завистливое сердце у этого человека, Андрей! - воскликнул он, обратясь ко мне и потрясая обеими руками. - Берегись, Андрей!

Завистливое сердце? Завистливое... Чему оно может завидовать?

XI Из дневника Бессонова. Вчера Лопатин с Гельфрейхом встретили нас с Надеждой. Вопреки моему желанию, они познакомились. Сегодня утром я поехал к нему и хотел не допустить этого сближения, но не был в состоянии ничего сделать. Они будут видаться, будут каждый день просиживать по несколько часов вместе, и я знаю, чем это кончится.

Я тщетно стараюсь решить вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле? Не все ли мне равно? Положим, я знаю Лопатина много лет и, кажется, искренно симпатизирую этому талантливому юноше. Я не хотел бы ему зла, а сближение с падшей женщиной, прошедшей огонь и воду, это - зло, особенно для такой нетронутой природы, как он. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узнал ее, когда она уже была тем, что есть. Я должен признаться перед самим собою, что было время, когда слабость овладела мной, и я, увлеченный ее не совсем обыкновенной внешностью и, как мне казалось, недюжинным внутренним содержанием, думал о ней больше, чем бы следовало. Но скоро я победил себя. Зная уже давно, что

легче «верблюду пройти в игольное ушко», чем женщине, вкусившей этого яда, вернуться к нормальной и честной жизни, и присматриваясь к ней самой, я убедился, что в ней нет никаких задатков для того, чтобы она могла составить исключение из общего правила, и с болью в душе я решил предоставить ее судьбе. Тем не менее я продолжал с нею видеться.

Никогда не прощу себе ошибки, сделанной мною в тот вечер, когда Лопатин пришел жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказав, что у меня есть на примете субъект, годный в натурщицы. Не понимаю, как Гельфрейх не сообщил ему об этом раньше: он знает ее так же давно, как я, если еще не дольше.

Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дело. Следовало быть мягче; я же вывел этого мягкосердечного человека из себя. Он схватил какое-то копьё и воткнул его в пол, так что стекла задрожали, и я, видя, что он раздражен до последней степени, должен был уйти.

Я несколько дней не видел Лопатина. Вчера встретил на улице Гельфрейха и осторожно навел разговор на его приятеля. Она бывает у него каждый день; картина подвигается быстро. Как она себя ведет? Скромно, с достоинством. Всегда молчит. Одета в черное, бедно. Берет за сеансы деньги. Ну, а Лопатин? Лопатин очень рад, что нашел себе такую натурщицу; сначала очень повеселел, а теперь немного задумывается.

- Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим, - сказал мне в заключение горбатый. - Вы никогда не принимали в этой женщине никакого участия. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее. Теперь уже, конечно, поздно... то есть, поздно для вас.

Поздно для вас! Поздно для вас! Что он хотел сказать этим? Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга? Глупцы! Как! И этот Гельфрейх, который считает себя его другом, который знает лучше, чем я, его отношения к сестре-невесте, - и он не понимает, какое зло творят они? Они не спасут эту женщину; Лопатин разобьет сердце любящей девушки и свое... Я чувствую, что я должен, обязан сделать что-нибудь. Я пойду завтра к Лопатину днем и постараюсь убедиться сам, как далеко зашло дело. А сегодня отправлюсь к ней.

Я был у нее и не нашел: она переехала неизвестно куда. Мне сказали, что она распродала свои платья. Я попробовал искать ее, но, несмотря на адресный стол и услуги дворников, не мог найти ее следа. Завтра иду к Лопатину.

Необходимо оставить свой прежний образ действий. Я ошибся в Лопатине: я думал, судя по его мягкости, что с ним можно говорить повелительным тоном; нужно сказать, что прежние наши отношения до некоторой степени оправдывали такое мнение. Необходимо, не трогая его, действовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мне, была несколько заинтересована мною. Я думаю, что, если я приложу хоть немного старания, я разлучу их. Быть может, я разбужу в ней старое чувство, и она пойдет за мною.

Ухаживать за Надеждой Николаевной! Эта мысль дика для меня самого, но я останавливаюсь на ней. Я чувствую себя не вправе допустить падение Лопатина и разрушение всей его жизни.

Эта женщина смеется надо мною! Я обратился к ней со всею нежностью, на которую я только способен; я даже, может быть, говорил с нею унижительным для себя тоном, и она ушла, сказав несколько обидных и презрительных слов.

Она удивительно изменилась. Это бледное лицо приобрело какой-то отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению. Она скромна и в то же время как будто бы горда. Чем ей гордиться?! Пристально вглядываясь в лицо Лопатина, я думал прочесть на нем историю его отношений к ней. Ничего особенного: он несколько возбужден, но, по-видимому, только своей картиной. Это будет превосходная вещь. Она стоит в холсте как живая.

Я пересилил свой гнев и, не показав вида, что считаю себя оскорбленным, остался с Лопатиным и Гельфрейхом. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поучения, касавшиеся разных предметов, которыми я в настоящее время занят.

Но что же делать? Оставить дело идти так, как оно идет? Однажды я дал Лопатину обещание не впутывать в это дело его сестры Софьи Михайловны. Я, конечно, должен сдержать свое обещание. Но не могу ли я написать своей матери? Она хотя редко, но видится с Софьей Михайловной и может рассказать ей. Я не изменю слову и в то же время...

Да, предоставлять такое дело самому себе не следует; я не имею на это никакого права. А эту женщину я заставлю отказаться от ее добычи какими бы то ни было средствами. Нужно только узнать, где она живет. Тогда я поговорю с нею. А теперь оставляю все это и примусь за свою работу. В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть только

одно истинное, безотносительное счастье: удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать себе с гордостью: да, сегодня я создал благое.

ХII Записки Лопатина. Шесть дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не приходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылаясь на какие-то дела.

Я показал записку Гельфрейху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе; но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семен Иванович обещал мне сыскать ее «хоть на дне морском». Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шел на опасную экспедицию, и исчез на целый день.

Оставшись один, я попробовал работать; работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал свое внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц. Я закрыл эту книгу - умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошел бродить по городу.

Полусознанная смутная надежда встретить если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, все время не покидала меня, и я все время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Грум-Скжебицкого, в четвертом часу дня (был конец декабря, и уже темнело) прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом. Было очень тепло; капитан шел в довольно щегольском меховом пальто, расстегнутом и раскрытом около шеи; цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха; шляпа капитана блестела, как полированная, а рукой, обтянутой в модную желтую перчатку с толстыми черными швами, он опирался на трость с большим костяным набалдашником.

Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошел ко мне.

- Рад видеть мосье Лопатина, - сказал он. - Весьма приятная встреча.

Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал:

- Благодарю вас. Планируете или же спешите куда-нибудь? Если справедливо первое, то не пройдете ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мосье Лопатин! Гуляю ежедневно и прохожу Невский два раза туда и назад. Это закон.

Я хотел вернуться домой и поэтому пошел с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор.

- Сегодня вторая приятная встреча, - сказал он. - Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель.

- Как, капитан, вы и Бессонова знаете?

- Вы спросите у меня, кого я не знаю! - ответил капитан, пожимая плечами. - И господин Бессонов, будучи студентом, жил в моем отеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, мосье Лопатин! Многие знатные теперь инженеры, юристы и писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня.

И при этом капитан вежливо раскланялся с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану.

- Не забывает старых друзей, а уже в высоких чинах, мосье Лопатин, этот господин. Известный инженер Петрищев. Тоже у меня жил студентом.

- А Бессонов? - спросил я.

- И Бессонов прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола... - прибавил капитан, нагибаясь к моему уху.

Я почувствовал, что сердце у меня забилося сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь и о Надежде Николаевне.

Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал:

- Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость, да кроме того, старый солдат и теперь еще неравнодушен к глазам прекрасным...

Он взглянул на меня искоса и подмигнул; прищуренные глазки его сделались немного масляными.

- Капитан, - начал я, - я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым. Я, видите ли, не знал этого.

- Да, он жил у меня весьма недолго.

- Не был ли он знаком...

Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившимися выражением глазами. Теперь он был похож на ястреба.

- Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините, - смущенно закончил я.

Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью.

- Да, старому солдату есть что вспомнить... - продолжал он, как будто бы я у него ничего не спрашивал. - Шестой десяток начинается, - прибавил он, печально покачав головой. - Завидую, признаться, вам, мосье Лопатин, но завидую только вашим юным годам.

- Где вы служили, капитан? - спросил я, вспомнив слова Гельфрейха.

Капитан внезапно еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось озабоченно-серьезным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом.

- Между нами, как между благородными людьми! Вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Опатова!

И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления. Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение.

- Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям... - опять прошептал капитан, нагнувшись, и, снова отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий взор.

Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к Полицейскому мосту. Я был недоволен собою; я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, к которому не чувствовал ни малейшего доверия.

Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что «наш кошатник» еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице своем горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита.

- Что ж ваша-то, Андрей Николаевич, не ходит? - спросила она.

- Заболела, должно быть, Алексеевна.

Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе, как с Гельфрейхом, и мне было очень скучно.

XIII После обеда принесли письмо от Сони.

Я никогда ничего не скрывал от нее. Когда я умру, - а это случится скоро: смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь и воскресающее былое, - когда я умру и она прочтет эти записки, пусть знает, что никогда, никогда я не лгал перед нею. Я писал ей обо всем, что думал и чувствовал, и разве только то, чего я сам не подозревал в душе или в чем не сознавался перед самим собою, хотя смутно чувствовал, не попадало в мои длинные письма.

Но она знала меня. Несмотря на свои девятнадцать лет, она чуткой, любящей душой поняла то, в чем я не смел себе сознаться, что ни разу не сказалось в моей голове определенными словами. «Ты любишь ее, Андрей. Дай бог тебе счастья...»

Я не мог читать дальше. Какая-то большая волна нахлынула на меня, вошла в меня и почти лишила сознания. Я опустился на спинку кресла и, держа в руках письмо, долго сидел, закрыв глаза и неподвижный, чувствуя только, как эта волна шумела и бушевала в моей душе.

Это была правда: я любил ее. Я не испытал еще до сих пор этого чувства. Я называл любовью свою привязанность к сестре; я готов был через несколько лет сделаться ее мужем и, может быть, был бы счастлив с нею, я не поверил бы, если б мне сказали, что я могу полюбить другую женщину. Мне казалось, что судьба моя решена: «Вот жена твоя, - сказал мне Господь, - и у тебя не должно быть другой», - и в этом я утвердился, спокойный за будущее и уверенный в своем выборе. Любить другую женщину казалось мне ненужной и недостойной прихотью.

И вот пришло это странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданьем в глазах; жалость сперва овладела мною; негодование против человека, выражавшего к ней през-

рение, сильнее заставило меня взять ее сторону. А потом... Потом я не знаю, как это случилось. Но Соня была права: я любил ее мучительною и страстною первою любовью человека, до двадцати пяти лет не знавшего любви. Я хотел бы вырвать ее из ужаса, в котором она терзалась, унести на своих руках куда-нибудь далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья. И Соня сказала мне все это одной строчкой своего письма...

«Обо мне не думай. Я не хочу сказать: забудь меня совсем, но только то, чтобы ты не думал о моем страдании. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце - и знаешь, почему? Потому, что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотреть на тебя как на брата и как на жениха: первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали нам. Я люблю тебя больше всех на свете; я могла бы и не писать этого потому что ты это знаешь сам; но когда я прочла твое последнее письмо и сказала себе правду о тебе и Надежде Николаевне, - поверь мне, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось в мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не жена; поняла это из своей радости за твое счастье - радости, смешанной со страхом за тебя. Я не скрываю этого страха; но дай Бог тебе спасти ее, и быть счастливым, и сделать ее счастливой. ...Из того, что ты писал мне о Надежде Николаевне, я думаю, что она достойна твоей любви...»

Я читал эти строки, и новое, радостное чувство понемногу овладевало мною. Я не разделял страха Сони: чего было мне бояться? Как и когда это случилось - я не знаю, но я поверил в Надежду Николаевну. Вся ее прошлая жизнь, которой я не знал, и ее падение - единственное, что я знал из ее жизни, - казалось мне чем-то случайным, ненастоящим, какой-то ошибкой судьбы, в которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетело на нее, закружило ее, сбilo с ног и повалило в грязь, и я подниму ее из этой грязи, прижму к сердцу и успокою около него эту истрадавшуюся жизнь.

Сильный, порывистый звонок заставил меня вздрогнуть. Не знаю сам почему, не дождав-шись, пока Алексеевна, шлепая туфлями, прибредет, чтобы отворить дверь, я кинулся к ней и отодвинул засов. Дверь распахнулась, и Семен Иванович, схватив меня обеими руками, прыгивал на месте и кричал радостным и визгливым голосом:

- Андрей, привел, привел, привел!

За ним стояла темная фигура. Я кинулся к ней, схватил ее дрожащие руки и начал целовать их, не слушая, что она говорит мне взволнованным, сдерживающим рыдания голосом.

XIV Мы долго просидели втроем в этот памятный для меня вечер. Мы говорили, шутили, смеялись; Надежда Николаевна была спокойна и даже как будто весела. Я не расспрашивал Гельфрейха, где и как он ее нашел, и он сам не заикнулся об этом ни одним словом. Между мною и ею не было сказано ничего, что намекало бы на то, что я передумал и перечувствовал перед ее приходом. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерешительность заставляли меня сдерживаться: я просто считал это ненужным и лишним; я боялся растревожить ее израненную душу. Я был разговорчив и весел, как никогда; Гельфрейх изъяслял какой-то шумный восторг, сиял, болтал без умолку и иногда своими выходками заставлял улыбаться Надежду Николаевну. Алексеевна накрыла стол и принесла самовар. Устроив все как следует, она стала у прито-локи и, подперши одну щеку рукою, несколько минут смотрела на всех нас и на то, как Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала.

- Вам нужно что-нибудь, Алексеевна? - спросил я.

- Ничего, милый, мне не нужно, так посмотреть на вас только... Уж и обиделся! - сказала она: - нельзя старухе и постоять! Вот смотрю, как у вас барышня заместо хозяйки. Так-то оно хорошо!

Надежда Николаевна опустила голову.

- Видишь ты, как славно. А то все мужчины да мужчины: и чай разливать, и все. Уж мне-то без хозяйки скучно стало, Андрей Николаевич, правду тебе сказать, уж ты извини меня. - Она повернулась и засеменила своими ногами по коридору.

Наша веселость пропала. Надежда Николаевна встала и начала ходить по комнате. Моя картина стояла в углу. За эти несколько дней я не подходил к ней, и краски успели высохнуть. Надежда Николаевна долго смотрела на свое изображение и потом, обернувшись ко мне, сказала с улыбкой:

- Ну, теперь мы скоро кончим. Я не стану делать вам таких перерывов. Она будет готова задолго до выставки.

- Как вы похожи! - вставил Сенечка.

Она вдруг остановилась, как будто внезапная мысль помешала ей говорить, и с нахмуренным лицом отошла от картины.

- Надежда Николаевна, что с вами? Опять нахмурились! - сказал я.

- Ничего особенного, Андрей Николаевич. Я действительно очень похожа на этой картине. Мне пришло в голову, что меня знают многие, слишком многие. Я представляю себе, как это будет... - Она тяжело дышала, и слезы стояли у нее на глазах: - Я думаю, сколько придется вам услышать толков, вопросов! - продолжала она. - «Кто она? Откуда вы ее взяли?» И будут спрашивать люди, которые знают, кто я и откуда меня можно было взять...

- Надежда Николаевна...

- Вы не погнушались мною, Андрей Николаевич, вы и мой милый Сенечка; вы посмотрели на меня как на человека. В первый раз за три года это случилось. Я не верила себе. Знаете ли, отчего я ушла от вас? Я думала (простите меня за это!), я думала, что вы как и все. Я думала: вот и я, мое лицо, мое тело пригодились к чему-нибудь нужному, и поэтому пришла к вам. Картина подходила к концу, вы были со мной вежливы и деликатны; я уже отвыкла от такого отношения и не верила себе. Я не хотела испытать ещё одного удара, потому что от этого удара мне было бы очень больно, очень больно...

Она села в глубокое кресло и приложила платок к глазам.

- Простите меня, - продолжала она. - Я не верила вам, я с ужасом ждала той минуты, когда вы, наконец, посмотрите на меня тем взглядом, к которому я уже слишком привыкла за эти три года, потому что никто за эти три года не смотрел мне в лицо иначе...

Она остановилась; лицо ее судорожно исказилось, и губы задрожали. Она смотрела в дальний угол комнаты, как будто бы видела там что-то.

- Был один, только один, который смотрел не так, как все... и не так, как вы. Но я...

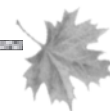
Мы с Гельфрейхом слушали ее, затаив дыхание.

- Но я убила его... - едва слышно выговорила она.

И страшный приступ отчаяния овладел ею: вопль вырвался из измученной груди, и жалкие, детские рыдания огласили комнату.

Продолжение следует

Вс.М. Гаршин.



Вдохновение

Лови минуты вдохновенья,
Восторгов чашу жадно пей
И сном ленивого забвенья
Не убивай души своей!
Лови минуту! пролетает,
Как молнии яркая струя;
Но годы многие вмещает
Она земного бытия.
Но если раз душой холодной
Отринешь ты небесный жар;
И если раз, в беспечной лени,

Ничтожность мира полюбив,
Ты свяжешь цепью наслаждений
Души бунтующей порыв, -
К тебе поэзии священной
Не снидет чистая роса,
И пред зеницей ослепленной
Не распахнутся небеса.
Но сердце бедное иссохнет,
И нива прежних дум твоих,
Как степь безводная, заглохнет
Под терном помыслов земных.

1831

А.С. ХОМЯКОВ.



*Мудрость заключается не в том, чтобы быть умнее других,
а в том, чтоб другие об этом не догадались.*

Красавицы

Рассказ.

I Помню, будучи еще гимназистом V или VI класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно-сучный. От жара и сухого, горячего воздуха, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и, когда дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей останавливались мы в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушки богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую, стриженую головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук; головка эта неумело приклеена к тощему, горбтому туловищу, одетому в фантастический костюм: в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары; ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством: не улыбалась, не пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания.

В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи... Дедушка и армянин вполголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах. Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом ляжет спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряские дроги. Я слушал бормотанье двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем, и мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам...

Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул:

- Машя! Ступай наливай чай! Где ты? Машя!

Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуда и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, боса и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами.

Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток. И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа - все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота...

Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, восьмидесятилетний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил:

- Это ваша дочка, Авет Назарыч?

- Дочка. Это дочка...- ответил хозяин.

- Хорошая барышня,- похвалил дедушка.

Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, Бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты

правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному, белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но, чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Смотрите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама.

Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз; какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов. «Это оттого, - думал я, - что я весь в пыли, загорел, и оттого, что я еще мальчик». Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжания мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка.

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу.

После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на крыльце. Дом, как и все дома в Бахчи-Салах, стоял на припеке; не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотья. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своею властью над ними:

- А-а-а, окаянные! А-а-а... нету на вас холеры! Боитесь?

Лошади, гнедые, белые и пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивая хвостами. Из-под копыт ветер поднимал целые облака золотистой пыли и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами, в другом дворе, бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадьми.

Ступени, на которых я сидел, были горячи; на жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей; под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и, как птица, полетела к небольшой, закопченной пристройке, должно быть кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо нее на пороге показалась старая, сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бранила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече; красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой пыли, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб, потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен:

- А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!

И все время потом слышал я не переставая шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным, озабоченным лицом носилась по двору. Пробежала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею. И чем чаще она со всей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взгля-

дом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как все на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, Бог знает!

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее "назад"! Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.

Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

- А славная у армяшки девка! - и хлестнул по лошади.

II В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе. На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходящего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.

Прожаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как-будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и ненадолго.

- Что вы тут смотрите? - спросил я.

Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет семнадцати-восемнадцати, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилкой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне.

Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее. Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного в ней были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, все же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать, или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт. Мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.

Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которое не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.

- Тэк-с... - пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.

А что значило это "тэк-с", не берусь судить.

Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим, скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал:

- Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей в этом воздушном создании и не влюбиться - выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка!

Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.

Пробил третий звонок, раздались свистки, и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой...

Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошла по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уже не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.

Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.

А.П. Чехов.



У т р о в с е н т я б р е

Прохладное утро душисто и ясно,
как пламень, оживший едва.
Не солнце ль, которое в небе угасло,
мазками роняет листва?

Оранжевым, розовым, желтым, багряным -
деревья огнем расцвели.
А ветер порхает, прохладный и пряный,
над миром уставшей земли.

Люблю тебя в утро прохлады душистой.
Ты так же, как утро, свежа.
Как небо, как воздух, прозрачный и чистый -
твоя голубая душа.

Люблю тебя, утро, ты - крепость и свежесть,
ты - жизни святое питье...
О, только бы, только - усталое нежить
осеннее сердце мое.

1939

Алексей Ачаир.

Шумит листвою теплый ветер...

Шумит листвою теплый ветер,
Плывут по небу облака.
Как просто все на этом свете,
Как жизнь легка и смерть легка.
Пусть все, как дым, проходит мимо,
Вот тут, со мной – твое плечо,
Рука – и все, что так любимо
И бережно, и горячо.
Совсем не надо ни истерик,
Ни новых слов, ни тонких драм,
Мы попросту и ясно верим
Осенним ласковым утрам.

Ларисса Андерсен. Харбин.

*Грызть гранит науки,
чтобы утолить жажду
знаний? Странно....*

Иоанн рыдалец

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и скучно. Казенный кирпичный вокзал еще слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет еще в нем ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии. По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок-генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь, однако, и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем, что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагона-ресторана, за зеркальными стеклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок - все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клокочущей в нем силы, нетерпеливо сдерживая ее. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер. И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полушубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желания, с притворным наслаждением крикая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределенное, ни дневное, ни вечернее - в такую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределенна и погода: зашло солнце за облачко - не жарко и в полушубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее, на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост - голый, бугристый. Церковь по камню крашена темно-коричневой краской. В ограде ее немало рассеяно широких чугунных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся, на одной - имя князя и вельможи, а на другой - раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа, только перед самой кончиной примирился с Богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его. «Юрод, неряшен миру он казался» - говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и вопить, как страусы!»

Те, что едут в экспрессе на воды, знают о князе - из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал и чуден был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», - сказал князь - и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой двери в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике

на заячем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». - «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком же?» - «А по старому году, сударь, по старому году!» - сказал князь - и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться. В этот-то день и отдано было первое приказание - дать полсотни розог Ивану, с плачем и лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселенных князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись, сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от Бога видения, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание: послушаться отца. Встал он на ране, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде. Все к обедне пошли; пошла и молодая с новыми родными; только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коне: лошадь отличная, поповская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». - «А за образами», говорит попов работник. (По нашей местности всегда так: какую записочку, поминание - все туда кладут, а допреж и деньги класть не боялись.) Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидел на горе храм Божий, сказал: «Господи Иисусе...» И только сказал - глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на веревке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней, хотят на сборню везть, думали - бродяга какой. А он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как Штраусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идет: пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать чей-то пеший след пробит за гумна, за овины; пошел я, говорит, по этому следу; вижу - лапти новые, а след от одной ноги до другой - боле трех сажень...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» - и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал. И объявился странным. Пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаюсь на господ, на начальников, и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жиленький, ходил в одной длинной рубахе из веретья, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке - железный лом, и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со включенными волосами, он гонялся за людьми, - и люди, крестьясь, бежали от него. Был он поражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой, делавшей еще ужаснее его алые глаза. Был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, - конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, - князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя Штраусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю прежестокко пугал князя, высккивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню.

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое, быть скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он, - когда ему, больному и иссохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, - твердо сказал: «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный - полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспресса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции, некрасивая, худая дама в трауре, с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеиваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными могилами, и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той недоведенной до конца почитательностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, - она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. «Юрод, неряшен миру он казался», - читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, внушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой - голубой, прозрачной, в кольцах - прижимая к глазам батистовый платочек.

Капри. 18 февраля. 1913

И. БУНИН.



У т е ш е н и е

Вчера еще расплавленным металлом
за дальними деревьями горя,
пожарами румяно расцветала
холодная, вечерняя заря.

Сегодня утром солнечные пятна,
на талом снеге землю очерняя,
пахнули югом, разодев нарядно
невесту распускающегося дня.

И снова ветер правит ночью тризну,
как бездна - тьма. Беззвездно и мертво.
Худые руки тянутся и виснут.
Глаза пусты. Ни друга... Никого!

Ведь только что рукою проводила
по кольцам мягким трепетом живым,
ведь только что накопленная сила
весны любовной связывала с ним!

Не плачь, не плачь, - в слезах любви
не много.

Рыдать. Рыдает только медь.
Имела все от жизни и от Бога.
Сумей простить: могла и не иметь!

Еще весной, еще в апреле травы
дрожали здесь... и оказались правы -
косец и конь, который с сеном шел.
И так во всем. На этом кособоре

оставлен друг, чтоб вечно не забыть...
Любовь была, будь справедлива в горе, -
любовь была, а ведь могло не быть!



1939

Алексей Ачаир.



О С Е Н Н И Е П Е С Н И

1. Как незаметно годы катятся,
Как незаметно сердце тратится.
И листья медные
Летят так медленно,
И небо бледное
В лохмотьях туч.

Уже не радует пустынных
Осенних улиц темнота.
Все те же в зеркале морщины,
Все та же в сердце пустота.

И только ты, неумолимый,
Опять идешь за мной, как тень,
Мой спутник в серой пелерине -
Осенний день, туманный день.

Как незаметно годы катятся,
Как незаметно сердце тратится.
И листья медные
Летят так медленно,
И небо бледное
В лохмотьях туч.

Д.Глушков-Олерон.



Письма читателей

9-8-2012 Дорогая Тамара! Спасибо за журнал. Всегда думаю: "кустарь-одиночка", а какой замечательный результат каждый раз! Почему расхваливаю? Потому что у меня не хватило бы прилежности, терпения, энергии для возни, а также и силы, чтобы отбиваться от каждого назойливого автора. 13 лет издания - это не случайность везения, это упрямство, воля достигать цели, преданность своему делу. Делу, которое любишь и которому служишь! Лет до ста расти - Вам без старости! Небольшое замечание. Почему бы Вам не поместить свою статью об Ерохиной на сайт ХАРБИН И ХАРБИНЦЫ? Она у Вас есть и в журнале, и в Фейсбуке. Ведь, в конце концов, Ерохина - выходец из Харбина. Мне кажется, всем будет интересно. Ваш **Абрам Троицын**. Сидней.

Дорогая Тамара! Сушая мелочь. Не подумайте, что придираюсь. Я бы на Вашем месте прибавил Чехову инициалы «А.П.» И Баратынскому тоже. Другое дело - ТЭФФИ. Кстати, родственник А.П. Чехова, кажется, племянник, проживал в Нью Йорке, был режиссёром и постановщиком по драме. И написал одну книгу.

Ваш **Абрам**.



*Есть, быть аккуратней. Спасибо, дорогой Абрам.
Хотя Чехов – это же **the** Чехов - и он только один. Т.М.*

9-8-2012 Тамара, здравствуйте!
На каждый новый номер "Жемчужины" Вы становитесь богаче. И не только Вы. Спасибо и так держать
С поклоном из Пскова, **Вита Пшеничная-Шафронская**.

10-8-2012 *Спасибо, Тамара!
Хорошего настроения и радости.
Ефим Гаммер. Иерусалим.*

11-8-2012 Тамара Николаевна, огромное спасибо за присланные файлы с журналами. Это всё очень интересно. И за Владимира Сорокина спасибо. Если бы он был жив, ему было бы чрезвычайно приятно попасть на первую страницу Вашей "Жемчужины". С признательностью,
Светлана Скорик. Украина.

10-8-2012 Здравствуйте, Тамара Николаевна!
Рада новой "Жемчужине". Большое спасибо за публикацию. С уважением, **Наталья Калининко**.
Украина.

13-8-2012 Здравствуйте, уважаемая Тамара Николаевна! Благодарю Вас за очередной номер Вашего прекрасного журнала.
С уважением, **Александр Капусткин**. Россия.



18-8-2012 Тамара Николаевна, здравствуйте! Огромное спасибо за публикацию! Прочитал 51 номер жемчужины. Само по себе даже оформление замечательное, Вы нашли прекрасное оформление тому, что предлагаете читателю. Чувствуется вкус художника и женская рука. Журналы, в которых главный редактор мужчина, - более строги и опрощены. Но изыскам грош цена, не будь добротного материала. А в Вашей «Жемчужине» - настоящие перлы. Современность под сенью классики, проверенное временем русское слово по соседству с современным, живым, меняющимся. Порадовало и то, что не остается за порогом литературы и православие – истинное сердце русской души. Ненавязчива публицистика, не кажутся чрезмерными отрывки из повестей, чем грешили многие журналы на срезе перестройки. Журнал органичен и разнообразен. Видно, сколько души, труда и любви вложено в него. Сколько требовательности к материалу. Прочитав такой журнал, даже загордишься, что, как написала у Вас Наталья Мельникова: «Весь мир по-русски говорит». Понравилось мне и исследование русского слова Ирзабекова, рассказ «Расстрел» Геннадия Гончарова. Просто замечательно, что Вы своим трудом лелеете русскую литературу и русское слово далеко за пределами прародины. Но только так и можно остаться человеком, храня в душе искру Родины и не стать «Иваном, не помнящим родства». Всего Вам доброго. Еще раз огромное спасибо за публикацию.

С уважением, Игорь Безрук, г. Иваново.

25-8-2012 Добрый вечер, Тамара! Вам, хранительнице и неутомимой собирательнице русской словесности, а также Автору сентиментальных хокку, сердечное спасибо за журнал и неожиданную публикацию одного из моих домашних стихов. Какой разнообразный материал и как много из него можно почерпнуть! С неподдельным уважением и признательностью,

Александр Семченко, Hope Island, QLD.



Письма читателей

1-9-2012 Здравствуйте Тамара Николаевна! Разрешите поблагодарить Вас за электронную версию 51 номера «Жемчужины» и публикацию. В конце августа я вернулся из Владивостока и приступил к основательному прочтению номера. Первые впечатления: много прекрасного - и стихи, и проза, и познавательный материал. Тайна русского слова, автор Ирзабеков, заставляет задуматься над тем, что в истории нашей России, - а она Наша, и для тех, кто в настоящее время живёт в России, и для тех, кто живёт за её пределами и по праву считает Россию Родиной, - было много хорошего и доброго... того, что в наше непростое время так необходимо России и людям её любящим.

Рассказ «Расстрел», автор Гончаров, - это ответ тем кто прилагает неимоверные усилия для того, чтобы народ забыл о жестоких годах, о палачах, а новые поколения остались бы без настоящей правды. Автору - моё уважение, а редакции - спасибо за публикацию рассказа.

Прекрасны стихи Елены Якуповой «Россия сновидений». С какой искренней любовью она пишет о России, а строчки: «Страна мечты моей, Россия сновидений \ Дитя чужбины я, но всей душой твоя» - просто восхитительны. «Русский Храм» Александра Бывшева - словно песня о России, очень ёмкое и сильное стихотворение. Такие работы могут служить маяками любви и добра, на которые необходимо держать курс; авторам - спасибо.

Продолжу чтение номера и обязательно напишу ещё. С уважением и пожеланием всего самого доброго и хорошего. **Евгений Кульба.** Россия. Благовещенск.



7-9-2012 Здравствуйте, дорогая Тамара! Прежде - мои преклонения пред Вашим Мужеством. Написать такой рассказ в мои годы - это просто поступок. Решиться опубликовать, в Ваши годы - это броситься на амбразуру: почувствуйте разницу. Благодарен. Будут неприятности - всё сваливайте на меня. Спасибо за письма... Мне становится не так одиноко. Полагаю, будут (или уже есть и Вы меня оберегаете?) и "патриотические" письма (лже!). Хотел бы и их почитать. Или все читатели Вашей "Жемчужины" обращены *словом* в истинных патриотов России? Слово - оно как шрапнель, прореживает неразмысляющих. Спасибо Вам, мне повезло, что какой-то отрезок моей жизни Вы оказались в нём. **Геннадий Гончаров.** Канберра. (Россия).



Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Ф. Тютчев.

Перед дождем

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей, сухой и острой;
Набегают холодок.
Полумрак на все ложится,
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон...

Н. Некрасов.



Закружилась листва золотая

Закружилась листва золотая
В розовой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлады,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость,
Все любя, ничего не желать?

С. Есенин.

РЕКЕНШТЕЙНЫ

Роман



Окончание...

Переодевшись в домашнее платье и отослав своих горничных, мадемуазель де Морейра предалась размышлению, и несколько горячих слезинок скатилось по ее щекам. Безрассудные слова брата порвали завесу, скрывавшую от нее самой ее собственное сердце. Да, Арно был для нее идеалом; она стремилась к нему душой, и не родство становилось преградой между ними, а равнодушие графа, который не находил в ней того, что любил в ее матери; видел в ней лишь бледную копию, тело, лишенное духа. Была минута, когда она горько пожалела, что не обладала такой же обаятельной, порабощающей силой, но почти тотчас покачав своей хорошенькой головкой, прошептала: «Нет, даже ценой твоей любви, Арно, я не хотела бы причинить тебе страдания, подобные тем, какие ты вынес».

Опасение, что Арно может заметить ее чувство, сильно смущало ее, а мысль, что она лишь напоминала ему его прошлую любовь, приводила ее в нервное раздражение. И она решила принять первое предложение, какое ей будет сделано, чтобы выйти из неловкого положения и иметь цель жизни.

В назначенный день Танкред и Лилия сели в купе первого класса. Она была холодна и спокойна, он - задирист и язвитель.

Путешествие совершилось благополучно, и Лилия делала вид, что не замечает, как ее муж, выходя на каждой станции, лорничировал с хвастливой бесцеремонностью всякую хорошенькую женщину, какая попадалась ему на глаза. В Рекенштейне их приняли с торжеством. Школьный учитель сказал приветственную речь, и под градом злых насмешек, какие нашептывал ей муж, молодая графиня вступила в замок. Супруги поместились в отдельных апартаментах и после нескольких дней отдыха начали делать визиты в окрестностях.

Между соседями самым близким был один старый граф де Равенгорст, года два-три назад поселившийся в своем поместье, бывший кутила, подарик и почти слепой, но чрезвычайно богатый. Последним его безрассудством была его женитьба на молодой и красивой женщине, не очень богатой, но большой кокетке, интриганке, жаждущей удовольствий.

Танкред, казалось, был обворожен, увидев графиню, которая была действительно прелестной женщиной; маленькой, стройной, как сильфида, с пепельными волосами и зеленоватым цветом больших прекрасных глаз, вследствие чего ее прозвали Ундиной.

На мадам де Равенгорст Танкред произвел не менее сильное впечатление, и, судя по тому, как она к нему относилась, Лилия поняла тотчас, что в ней появилась опасная соперница, если она действительно станет оспаривать ее у Танкреда.

Знакомство сразу стало очень интимным, так как оказалось, что Танкред встречался в Берлине с братом графини Генриетты, который приехал провести у зятя свой двухмесячный отпуск.

Визит был очень скоро отдан, и между графом Рекенштейн и красавицей-соседкой начался усердный флирт, между тем как брат последней ухаживал за Лилией; но Танкред делал вид, что не замечает, какое страстное восхищение молодой человек выказывал его жене.

Раз утром Лилия, возвращаясь с прогулки, встретила мадам де Равенгорст; она ехала верхом одна. Дамы поговорили с минуту, но амазонка не могла скрыть своего нетерпения и поспешила уехать.

Мрачная, нахмутив брови, Лилия вернулась в замок. Возбужденная в ней ревность внушала ей разные подозрения, обратившиеся в уверенность, когда из окна своего будуара она увидела, что Танкред несся во весь опор вдоль авеню и затем повернул лошадь к лесу. Буря забушевала в душе молодой женщины, возбуждая в ней желание отомстить. И это желание приняло определенную форму, когда полчаса спустя щегольский экипаж брата соперницы остановился у подъезда.

Барон Дагобер де Сельтен был красивый молодой человек, стройный блондин, как его сестра, и гусарский мундир шел к нему как нельзя более.

Лилия встретила барона с той милой приветливостью, какой она никогда не оказывала ему; задержала его, потом повела в сад, показала ему оранжерею, олений парк, фазаний двор; нако-

нец, принимая с полной благосклонностью любезное внимание и пламенные взгляды своего спутника, Лилия села с ним возле пруда, чтобы кормить лебедей.

Они были поглощены этим невинным занятием, когда в конце аллеи показался Танкред с раскрасневшимся лицом и очень разгоряченный. Он шел очень скоро, хлопая хлыстом и не сводя глаз с Лилии. Она была прелестна в своем белом платье и большой шляпе из голубого крепа; с веселой улыбкой она бросала лебедям кусочки хлеба, которые подавал ей собеседник, говоря ей что-то с большим оживлением.

- Боже мой! Лилия, что за дикая идея тащить барона в сад, когда солнце печет, как в странах жаркого пояса, - сказал Танкред, стараясь придать голосу шутливый тон и кланяясь гостю.

- Мы здесь в тени; и возле воды довольно свежо, - ответила она простодушно. - Я старалась, как умела, развлечь нашего милого соседа; ты так долго не возвращался: провожал, вероятно, графиню до дома.

- Да, - отвечал граф, неприятно пораженный, и поспешил переменить разговор.

Вернулись в замок, и так как было довольно поздно, то Лилия оставила барона обедать. Затем играли в крокет, и графиняпустила гостя лишь после чая. Танкред задыхался, а молодая женщина была в восторге от этих симптомов затаенной злобы своего супруга и находилась в прекрасном настроении духа. Когда наконец барон уехал, граф сказал язвительно:

- Сельтен обворожил тебя сегодня: ты не могла с ним расстаться.

- Разве это тебя стесняло? Ведь я одна занимала гостя; ты был так молчалив, что месье Сельтен спросил меня, что с тобой, я отвечала, что у тебя болят зубы.

- Тем более ему следовало убраться прочь. Какая бестактность оставаться бесконечно, когда хозяин дома нездоров. Потом я должен тебе заметить, что совсем неприлично показывать ему такое внимание в мое отсутствие: декорум должен быть соблюден.

Лукавая улыбка скользнула на румяных устах Лилии.

- Боже мой! Ему хотелось тебя видеть, а так как я знала, что ты отправился на прогулку с графиней, то и оставила его. Потом зубная боль не такая болезнь, чтобы из-за этого уезжать.

- Вероятно, барон сказал тебе, что я провожаю мадам Равенгорст: он встретил нас, - заметил граф, насупив брови.

- Ах, нет! Ведь он твой приятель и слишком скромн, чтобы вмешиваться в дела, которые его не касаются. Я сама догадалась, так как встретила графиню; она не могла удержаться на месте от нетерпения, и когда затем я увидела, что ты мчишься вдоль авеню, как ураган, то поняла, что вы спешите друг к другу, чтобы отправиться вместе на прогулку.

Танкред отвернулся взбешенный и, выходя из комнаты, сильно хлопнул дверью.

С этого дня барон сделался усердным посетителем Рекенштейнов, ухаживал за прекрасной владелицей замка, которая принимала его с неизменной приветливостью. Танкред был вне себя от ревности: бесился втихомолку, когда барон помогал Лилии сойти с лошади, или выйти из экипажа, или вообще оказывал какую-нибудь подобную услугу. Он совсем перестал интересоваться графиней де Равенгорст, не трогался из замка и, когда приезжал Сельтен, следил за ним, как сторож.

Лилия была в восторге от такого положения дела, так как это удовлетворяло ее мстительность и успокаивало ее ревность. Она не щадила Танкреда и смеялась исподтишка, когда он употреблял всякие хитрости, чтобы первому подойти снять ее с лошади, или жаловался на мигрень, когда она хотела играть в четыре руки с бароном. Тем не менее молодая женщина действовала настолько с тактом, что граф не мог ни к чему придраться. Он понимал, что она дразнит его и хочет его помучить, но, несмотря на эту уверенность, не мог победить своей ревности и страха, что эта опасная игра может привести к губельным последствиям.

Приезд Сильвии и графа Арнобургского вскоре после нее, придал этой игре неожиданный оборот. Барон стал понемногу отставать от Лилии, влюбился заметным образом в мадемуазель де Морейра и ухаживал за ней так, что его намерения сделались ясными для всех. Танкред был бесконечно рад, а Лилия немного досадовала, что расстроились ее манеры; и так как граф больше хотел, чтобы Сельтен был его родственником, чем соперником, то он открыто поощрял искания барона.

Но сама Сильвия оставалась равнодушной к ухаживанию молодого человека. Она была печальна, задумчива, избегала присутствия Арно настолько, как прежде искала его, и жаждала уединения. Граф заметил эту странную перемену, смущение молодой девушки, когда он обращался к ней с речью, ее старание избегать тех братских фамильярностей, которые, бывало, она так охотно допускала, и он счел своей обязанностью быть с ней строго сдержанным. Он тоже стал печален, раздражителен, озабочен и объявил, что, как ни было приятно гостеприимство

Рекенштейна, он решил поселиться окончательно в Арнобурге, где намеревался провести и зиму.

Накануне дня, назначенного для этого переселения, вся семья собралась к первому завтраку на террасе. Затем Лилия вышла для какого-то хозяйственного распоряжения, Арно сел в сторону с журналом; Сильвия собиралась последовать за невесткой, но Танкред остановил ее:

- Послушай, - сказал он, - я имею основание думать, что послезавтра на балу барон Сельтен сделает тебе предложение. Надеюсь, что на этот раз ты будешь благоразумна и без всяких капризов дашь свое согласие. Это прекрасная партия, человек честно любит тебя. Что ты можешь желать лучшего? Такого совершенства, как Арно, тебе не найти, - заключил он лукаво.

Сильвия вспыхнула, но Арно побледнел и сдвинул брови.

- Я бы желал, чтобы ты не включал меня в свои дурные шутки. А что касается твоего желания породниться с Сельтеном, оно удивляет меня.

- Отчего? Барон вполне порядочный молодой человек и прекрасный офицер. Разве ты имеешь что-нибудь против него?

- Ничего, только это кутила и мот, запутавшийся в долгах, так что состояние Сильвии придется ему к стати.

- Боже мой! Арно, можешь ли ты вменять в преступление Сельтену такую обыкновенную вещь. У кого нет долгов, когда он молод и когда он служит в гвардии? Мне известны долги барона: они не переходят границ приличия, и Равенгорст обещал уплатить их в случае женитьбы; состояние Сильвии избавит его от необходимости делать новые долги; он остепенится от любви к жене. А твои резоны не таковы, чтобы отказать человеку. Что скажешь на это, сестра?

- Если ты думаешь, что женитьба на мне будет иметь тот добрый результат, что обратит ветренника на путь истинный, то я согласна выйти за барона; он кажется мне добрым малым, - отвечала мадемуазель де Морейра глухим голосом.

- Отлично! - Твое решение делает тебе честь. И, быть может, на этом же балу мы объявим о вашей помолвке.

- Нет, нет! Не так скоро. Мне надо некоторое время, чтобы привыкнуть к этой мысли, - воскликнула бледная, взволнованная Сильвия и, схватив шляпу, кинулась в сад.

Покраснев по уши, Арно встал и, бросив журнал так, что он полетел за перила, подошел к брату.

- Скажи, пожалуйста, зачем ты мучаешь девочку и упорно навязываешь ей на шею этого негодного мота, волокиту, которого она не любит? Мало того, что в твоей собственной жизни ты так ветрен, такой невозможный муж, ты еще играешь будущим своей сестры и приносишь ее в жертву капризу ревности.

- Ошибаешься, - возразил Танкред, улыбаясь, - Я имею в виду лишь счастье Сильвии. Я не могу создать ей такого мужа, о каком она мечтает; но необходимо дать ей цель жизни, чтобы излечить ее от несчастной любви к тебе, так как сам ты не хочешь жениться на ней.

Арон побледнел и отвернулся.

- Ты не можешь жить без глупостей, Танкред. Сильвия любит меня, как брата, и связать ее с человеком, который годится ей в отцы, было бы дурной гарантией ее будущности.

- Вот ты говоришь глупости, Тебе тридцать восемь лет, ты красив и здоров, как двадцатилетний юноша. Отчего же ты не можешь составить счастье женщине? Сильвия была влюблена в тебя прежде, чем тебя увидела; она носит на шее твой портрет. Но ты слеп и просто глуп. Но, погоди, мне пришла мысль. Я стану ее допрашивать и заставлю сказать правду, а ты слушай за дверью и будешь удовлетворен, - заключил шутливо неисправимый ветреник.

- Фи! Как тебе не стыдно предлагать что-нибудь подобное, - отвечал Арно, поворачиваясь к нему спиной, беря шляпу и уходя прочь с террасы.

Опустив голову, граф медленно шел по тенистой аллее, стараясь привести в порядок многосложные чувства, вызванные в нем словами Танкреда. Он давно понял, какого рода чувства внушала ему Сильвия, но старался подавить любовь, которую считал возвратом несчастной страсти, омрачившей лучшие годы его жизни. Ценою каких усилий и страданий он приобрел спокойствие и душевный мир, и вот, при первом вступлении в родительский дом, он видит перед собой живой образ Габриэли - такой, какой он ее воображал: воплощение мира и счастья.

Всеми силами своей души он привязался к прелестной молодой девушке, синие глаза которой напоминали ему бури прошлого и сулили счастливую будущность, мирную пристань, если бы только он мог ее достигнуть. Но он решил не делать попытки, так как находил себя слишком пожилым и серьезным, чтобы составить счастье семнадцатилетней девочки. Слова Танк-

реда поколебали его решимость. Что если этот ветренник прав?! Если действительно Сильвия любит его, не принесет ли он в жертву ложному убеждению счастье их обоих? Имеет ли он даже право допустить неподходящий брак и дать ей кинуться, очертя голову, в объятия первого попавшегося развратника, который отравит ей жизнь?

Сам того не замечая, граф дошел до грота, находящегося в глубине сада, где он провел с Габриэлью столько упоительных часов. С глубоким вздохом он отворил дверь, чтобы отдохнуть, перешагнув порог, остановился, увидев в конце грота Сильвию: она сидела у одного из столиков, закрыв лицо руками, и обильные слезы текли сквозь ее тонкие пальцы.

С внезапной решимостью граф подошел к ней.

- Сильвия, о чем ты плачешь? - спросил он, наклоняясь к ней.

Молодая девушка встала, вся вспыхнув.

- Ничего, это нервы; затем разговор с Танкредом взволновал меня, - прошептала она, стараясь уйти.

Но Арно, взяв ее за руку, посадил возле себя на маленьком диване.

- Ты плачешь потому, что не любишь барона и решаешься все-таки выйти за него. Зачем это? Разве ты не имеешь больше никакого доверия ко мне? - спросил он, устремляя откровенный, ласковый взгляд в смущенные глаза молодой девушки, опустившей голову. - Правда ли, что всем этим женихам ты предпочитаешь утомленного путника, любящего тебя всеми силами своей души? Скажи, желаешь ли ты подарить мне свою любовь, протянуть мне руку и следовать за мной в мой старый уединенный замок?

Сильвия подняла голову. В глазах ее отражалось то сомнение, то счастье; но вдруг она обвила руками шею графа и воскликнула с простодушным восторгом:

- Арно, милый Арно, можешь ли ты еще спрашивать, хочу ли я быть счастливой! Скажи лучше, действительно ли правда, что ты меня любишь, ты - такой совершенный, такой превосходный во всем? И не будет ли тебе тяжело найти ничтожного ребенка, слабую, неодоухотворенную копию в той, которая напоминает тебе пленительную женщину, внушавшую тебе такую сильную любовь?

Граф покраснел.

- Оставь прошлое, ревнивица; оно похоронено и забыто. Твоя мать пронеслась в моей жизни как разрушительный ураган, а ты явилась на моем пути как солнечный луч, который рассеет последние тени; твои глаза, невинные и ясные, не обрекают на безнадежное страдание, а сулят мир и счастье. Но ты можешь ли быть счастлива со мной?

- Ах, об этом не беспокойся. Разве ты не чувствуешь, что я любила тебя с той минуты, как увидела в медальоне моей матери, - воскликнула Сильвия с сияющим лицом. - Мысленно я постоянно следила за тобой в отдаленных краях, где, я знала, ты скитаешься, не находя покоя; я ежедневно молила Бога даровать тебе душевный мир и возвратить тебя к нам. Бог услышал мою молитву и, если Он поможет мне сделать тебя счастливым, заставит тебя забыть свои страдания, это облегчит душу матери, она увидит, что я залечила рану, которую она нанесла.

Слишком растроганный, чтобы отвечать, граф прижал ее к груди.

- И мы проведем в Арнобурге эту зиму, не правда ли? - спросила Сильвия, отвечая на его поцелуй. - Я терпеть не могу города с его шумом и рассеянной жизнью.

- О, я разделяю твой вкус. Но не соскучишься ли ты со своим старым мужем?

- Ты старый? - переспросила Сильвия, положительно обиженная. - Конечно, ты красивее и привлекательнее всех этих безголовых фатов, которых я видела в Берлине.

- Так я не буду тебя разочаровывать насчет моей красоты и всех моих совершенств, - отвечал Арно, смеясь. - А теперь пойдем; скоро подадут завтрак, мне любопытно видеть удивление Танкреда, когда он узнает о счастливом результате его болтовни.

На террасе слуги кончали приготовления к завтраку. В стороне, за маленьким столом, сидела Лилия и разбирала цветы; между тем как ее муж, положив руки в карманы, ходил по комнате, рассказывая, что Сильвия согласна выйти за барона, и заявлял, что он крайне доволен решением сестры.

- Сильвия, подтверди своей невестке, что ты выходишь за Сельтена, - крикнул Танкред.

- Нет, нет! - спроси у Арно, - отвечала молодая девушка, смеясь.

- Да, я подтверждаю, что она никогда не выйдет за него, так как помолвлена со мной. Поздравьте нас, граф и графиня Рекенштейн, - сказал весело Арно. - А вы, - обратился он к слугам, - принесите шампанского.

Танкред подпрыгнул от радости, между тем как лакеи побежали исполнять приказание.

Затем он так обнял брата и сестру, что чуть не задушил. Лилия в свою очередь поздравила их. Счастливая, она прижала Сильвию к своей груди и протянула обе руки Арно.

- Теперь я знаю, что она будет счастлива, - сказала Лилия с чувством.

Свадьбу назначили через месяц, и Танкред настаивал, чтобы ее праздновали с надлежащей пышностью. Время проходило быстро, так как приготовления к этому торжеству дали всем много дела.

Лилия была поглощена заготовлением приданого для невестки. Арно устраивал и украшал свой старый замок для приема его будущей прелестной владельницы. Танкред деятельно занимался всеми подробностями свадебного пира и устройством блистательного фейерверка. Одна Сильвия ничего не делала и жила как в счастливом сне.

Эта деятельность и множество вызываемых ею развлечений ослабили несколько ожесточенную войну между графом и графиней Рекенштейн. Конечно, они все еще продолжали ссориться при каждом удобном и неудобном случае, но бывали минуты перемирия, когда они благоразумно рассуждали о разных хозяйственных и даже денежных вопросах.

В глубине души оба жаждали мира. Счастье Арно и Сильвии, их спокойное согласие возбуждали легкую зависть в сердце Лилии и лихорадочное нетерпение в сердце Танкреда. Тем не менее примирение не наступало, так как оба были упрямы; она не хотела сделать первого шага, а он не знал, как к этому приступить, и все добрые стремления кончались новой ссорой...

Наконец, настал день свадьбы.

С самого рассвета все было в движении в Рекенштейне. Делали последние приготовления: развешивали гирлянды, вешали шкалики, которыми предназначалось осветить парк, и церковь превращалась в букет редких цветов. Танкред, осмотрев окончательно все, стал скучать; брат был в Арнобурге, дамы не показывались, шум и суета в доме действовали ему на нервы, и он велел оседлать лошадь и уехал, предупредив камердинера, что вернется к завтраку.

Около полудня граф, возвращаясь с долгой прогулки, въехал в небольшой лес, смежный с парком. Лошадь шла шагом по тропинке, тянувшейся вдоль реки, воды которой, прозрачные, как кристалл, катились по песчаному дну. Молодой человек был разгорячен жарой настолько же, как и давящими мыслями, осаждавшими его. И вдруг ему пришло желание освежиться, окунувшись в реку. Не размышляя более, он соскочил с лошади и привязал ее к дереву. Затем, отыскав неподалеку маленькую бухту, окаймленную мхом и окруженную живой изгородью, густой как стена, он разделся и прыгнул в воду.

Граф не подозревал, что два любопытных глаза внимательно следили за ним с той минуты, как он появился на прогалине. То были глаза человека средних лет, одетого в рваное отрепье; его красный нос и поблекшее лицо свидетельствовали, что он был пламенным поклонником Бахуса.

Едва граф, умевший прекрасно плавать, достаточно удалился, как бродяга подполз, точно змея, к его платью, жадной рукой притянул к себе весь гардероб Танкреда и скрылся в чаще леса.

Можно себе представить душевное состояние графа, когда он увидел, что из его туалета у него осталась лишь соломенная шляпа, висевшая на суку и не замеченная мошенником. Страшно взбешенный, он разразился ругательствами, хотя все еще с лихорадочным раздражением искал вещи, отказываясь верить очевидному; но факт не подлежал сомнению, надо было с ним примириться и ждать терпеливо прохожего, которого он мог бы послать в замок.

Дрожа от бешенства и нетерпения, Танкред поместился в чаще кустарников, ближе к дороге, чтобы видеть ее в том и другом направлении, но ожидания его были тщетны. Было часов пять по крайней мере, в семь должны приехать приглашенные на свадьбу, а он был прикован к месту. Лошадь его тоже потеряла терпение. Долго он слышал, как она ржала и билась, наконец, порвала, вероятно, узду, которой была привязана, так как затем по тропинке раздался ее топот; она убежала рысью, направляясь, конечно, к себе в конюшню через авеню своим обычным путем.

В замке отсутствие графа стало возбуждать беспокойство. Его напрасно прождали к завтраку, и теперь, в час обеда, он все еще не возвращался. Охваченная недобрим предчувствием, смешанным со смутной ревностью, Лилия взяла шляпу и перчатки, намереваясь встретить мужа или узнать, по крайней мере, когда и где он проезжал.

Когда Танкред со своего наблюдательного поста увидел приближающуюся женскую фигуру, он хотел ее окликнуть и просить, кто бы она ни была, послать ему лакея, но разглядев, что это Лилия, промолчал; он был взбешен, но не мог решиться открыть ей свое смешное положение. Он не имел, впрочем, времени долго размышлять, так как в эту минуту послышались

тяжелые шаги и стук копыт, и на повороте дороги показался старый охотничий смотритель; он был очень озабочен и вел за узду лошадь Танкреда; колени лошади были в крови.

- Где вы нашли ее, Вебер, и отчего она ранена? Не случилось ли несчастья с мужем? - спросила молодая женщина, бледнея.

- Да, графиня, есть факт, не обещающий ничего хорошего, - отвечал старый смотритель, почесывая за ухом. - Очень подозрительный человек пришел в сельский кабак и продал там платье и белье; метка белья обратила внимание кабатчика, и он послал за комиссаром; когда мошенника, который был мертвецки пьян, обыскали, то нашли на нем часы графа и запонки. Так как эта каналья не в состоянии отвечать, а я случайно был там, то комиссар послал меня в замок спросить, заметили ли кражу; но по дороге я встретил лошадь, вот в таком виде и это внушило мне тревожные мысли.

- Ах! Очевидно, что совершено преступление! - вскрикнула молодая женщина вне себя.

- Успокойтесь, графиня, быть может, он только ранен и лежит в обмороке.

- Садитесь на лошадь, Вебер, и поезжайте скорее в замок. Пусть бьют в набат, чтобы тотчас шли на поиски, - приказала Лилия, опираясь на дерево, так как ее дрожащие ноги отказывались служить.

Оставшись одна, она опустила на пень и закрыла лицо руками. Молодая женщина была страшно поражена. Ясно, что живой Танкред не дал бы себя ограбить и даже раненый дотасщился бы до дому, позвал бы на помощь; ее возбужденное воображение рисовало ей ужасные картины: она уже видела, что приносят обезображенный труп мужа, облитый кровью, и мгновенно мучительный упрек совести так сильно сжал ее сердце, что оно готово было разорваться. Не ответила ли она грубым отказом на его раскаяние? Не мучила ли его всячески, зная, что он ее любит? А теперь он умер; все кончено; она не может загладить обиды, которые так эгоистично наносила ему ее мстительность. Поток горьких слез хлынул из ее глаз, и, ломая руки, она воскликнула:

- Бедный, бедный мой Танкред! Я не хотела с ним примириться, а теперь уже поздно.

Убитый, прячась в своей засаде, на расстоянии нескольких шагов, Танкред следил за этой сценой, не подавая признака жизни.

- Ах, злодейка, как она меня любит и жалеет мертвого, а живому наносит лишь одни оскорбления, - шептал он, тронутый и довольный.

Но увидев слезы Лилии и услышав ее восклицание, он не вытерпел и крикнул смущенным и вместе с тем лукавым голосом:

- Нет, нет, ничто не утрачено, я жив и невредим. Проклятый бродяга украл лишь мои вещи, пока я купался. Так не порти своих прекрасных глаз напрасными слезами.

Лилия вскочила на ноги и вскрикнула. Она не могла понять, откуда слышен был этот голос; но как только комизм положения стал ей ясен, она разразилась неудержимым смехом и Танкред невольно вторил ей. С трудом преодолевая себя, она сказала, не то смеясь, не то сердясь:

- Это мне нравится! Вместо того чтобы крикнуть, когда мы говорили с Вебером, ты шпионишь за мной.

- А иначе разве бы я услышал твое признание в любви? Но, ангел мой, после будешь журить меня, теперь иди, пожалуйста, в замок и пришли Осипа с платьем; мне надоело разыгрывать роль Адама в раю.

- Боже мой! Не простудился ли ты? - спросила Лилия с беспокойством.

- Нет, не бойся, я все время потел с досады и нетерпения, - отвечал молодой человек со смехом. - Но еще вот что: скажи, чтобы меня не искали и не делали шуму; пусть попросят комиссара отпустить эту пьяную каналью ко всем чертям; не надо разглашать этот глупый случай.

- Хорошо, хорошо, - отвечала Лилия, направляясь бегом к дому.

Возвратясь, она нашла весь замок в волнении. Но графиня положила конец общему смятению, объявив, что граф жив и здоров. Она послала смотрителя к комиссару, а камердинеру велела отнести как можно скорее невольному пленнику необходимую одежду.

Час спустя, одевая невесту, Лилия увидела возвращающегося мужа и указала на него Сильвии. Молодая девушка уже знала о случившемся, и обе они смеялись, как безумные. Но о том, что она выдала себя перед этим несносным Танкредом, Лилия умолчала.

Она кончала одеваться, когда ей доложили, что несколько экипажей показалось в конце авеню; бросив последний взгляд в зеркало, молодая женщина самодовольно улыбнулась.

В ту минуту, как она входила в большую гостиную, в противоположной двери показался Танкред в полной парадной форме. Увидев жену, он покраснел и поспешно подошел к ней; присутствие слуг помешало их объяснению, но по тому, как он поцеловал ее руку, и по счастливому, смущенному взгляду Лилии оба поняли, что вражда окончена.

После ужина новобрачные уехали в Арнобург, но бал продолжался, и на горизонте занималась заря, когда Танкред проводил своих последних гостей.

Лилия вернулась к себе, счастливая и спокойная, как никогда. Она вышла на террасу и, опершись на балюстраду, устремила задумчивый взор на необъятную зелень парка, еще освещенного, который, казалось, соединялся с темной каймой леса, окружающего Рекенштейн.

Шаги Танкреда, искавшего ее, заставили ее оглянуться. Он вошел на террасу и, сияющий, растроганный; подошел к ней.

- Дашь ли мне, наконец, свою любовь и прощение, жестокая властительница моего сердца? У твоих ножек, как ты того требовала, молю тебя о мире, - сказал он, преклоняя колени.

Молодая женщина, смущенная, смеясь, запрокинула обеими руками голову мужа и запечатлела долгий поцелуй на его губах.

- Неисправимый мотылек, долго ли я буду властвовать над тобой? - прошептала она.

- Нет, нет, довольно ветреничать, - воскликнул Танкред, вставая и страстно привлекая ее в свои объятия. - Ты не знаешь, как я утомлен безрассудными увлечениями, как жажду покоя и мирного счастья у семейного очага. И потом, - он лукаво усмехнулся, - Веренфельсы созданы для того, чтобы обуздать меня.

- Дай Бог, чтобы эта власть поддерживалась неизменно, чтобы мир и любовь были всегда девизом нашей жизни, - с глубоким чувством ответила Лилия.

конец

В.И.Крыжановская.



К *А.О. Россет.*

Она лукаво улыбалась,
В очах живой огонь пылал,
Головка милая склонялась;
И я глядел, и я мечтал!
И чудная владела греза
Моей встревоженной душой;
И думал я: "О дева-роза,
Печален, жалок жребий твой!
За душную стеной теплицы
Тебе чужда краса лугов,
Роса ночей, лучи денницы
И ласки вольных ветерков.
В твоей пустыне, полной шума
Людских волнений и забот,
Скажи, кому знакома дума
И мыслей творческий полет?"

Кто вольный, гордый и высокий,
Твоей плененный красотой,
С душою девы одинокий
Сольется пламенной душой?
Святыне чувства ты не веришь,
Ты как безбожник перед ней,
Улыбкой, взором лицемеришь
И томной нежностью речей.
Ты будишь пылкие желанья,
Души безумные мечты;
Но холодна, без состраданья
Словам любви внимаешь ты.
Играй же с слабыми сердцами!
Но знай: питомец ясных дум
Тебя минет, сверкнув очами,
Безмолвен, мрачен и угрюм".

СЛЕДОПЫТ



Молодёжный раздел.



(повесть о лесном детективе)

Продолжение

3. ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ

Утро выдалось хмурым. Лохмы тумана скользили над озером. Мелкие волны выкатывались на отмель, пенились у камней.

Позевывая, Смелый вышел из конуры. Хвостом ударил по тонкоствольной березке, и с зеленой кроны деревца пролился на него вчерашний дождь. Пес отряхнулся от холодного душа, разметал шрапнелью брызги.

Внезапно утреннюю тишину разорвал выстрел. Следопыт замер, прислушиваясь к глухому эху. По звуку выстрела определил - стреляли из охотничьего ружья. Но охотничий сезон еще не начался. Кто же мог палить в неурочное время? Смелый догадался - браконьер! И сорвался с места, пошел на звук выстрела.

Он летел по лесным тропам, перепрыгивал через поваленные деревья и кусты. Ноздри щекотал запах пороха и пролитой крови. Браконьер подстрелил кого-то из обитателей леса, понял пес. Эта догадка придала ему еще большей прыти. Надо было как можно быстрее найти браконьера, не позволить ему добить раненого зверя.

Смелый выскочил на полянку, к школе Мудрого Ежа. Здесь, в примятой траве, он увидел капли крови. По обнаруженным следам определил, что ранен Лось. Следы уводили в глубь леса. Следопыт двинулся по звериному следу, зная, что и браконьер пойдет за раненым Лосем.

Следы привели Смелого к густому кустарнику, возле которого он, к своему удивлению, обнаружил Ушастика. Оказывается, выстрел поднял на ноги и зайчонка. Начинаящий сыщик стремглав прибежал сюда, полагая, что и Смелый поспешит на место преступления.

- Молодец, Ушастик, - похвалил ученика Смелый. - На твой взгляд, что следует предпринять?

- На мой взгляд! Как известно, у зайцев взгляд косой, - пошутил Ушастик. И уже серьезно добавил: - Вот я и смотрю косо на стрельбу в нашем лесу.

- Я тоже смотрю на это дело косо, хотя и не заяц, - поддержал его Смелый. - А сейчас мы должны думать о том, как спасти Лосю. По направлению следов ясно - он спешит к берлоге Бурого Медведя. Хочет у властелина бора найти защиту. Но от потери крови ослабел. Думаю, вряд ли он доберется до берлоги. Поэтому...

- Понял! - вскричал Ушастик. - Мне надо бежать к Бурому Медведю, предупредить его. Пусть готовится к битве. И выходит навстречу Лосю.

- Правильно! Молодец! - еще раз похвалил Смелый находчивого ученика. - Беги к Бурому! - Есть бежать к Бурому! - по-военному откликнулся Ушастик и стремглав кинулся на выполнение боевого задания.

Смелый проводил его добрым взглядом и, пригнувшись к лосиным следам, потрусил по тропинке. Она вывела к кустам можжевельника и взрыхленной вокруг почве. "Здесь Лось упал от потери крови, - читал по следам Смелый. - Он бил в землю копытами, вспарывал землю рогами. Наконец, поднялся, из последних сил заковылял дальше. Но далеко ему не уйти. Скоро Лось поймет - нет у него надежды на помощь Бурого. И решится на единоборство с браконьером. А это верная смерть".

В подтверждение его догадки где-то впереди вновь прогремел выстрел.

Смелый ощерил пасть. Понесся туда, где прогреготало охотничье ружье. Выскочил на берег озера и увидел Лосю, стоящего у самой воды. Лось покачивался от слабости. Казалось, вот-вот рухнет на землю. И действительно, сохач не удержался на ногах, упал на отмели, в нескольких шагах от бегущего к нему человека с ружьем. В нем Смелый узнал известного браконьера Джери, за которым вот уже два месяца безуспешно гонялся лесник Яков.

Загоняя патроны в ствол ружья, браконьер Джери приближался к Лосю, чтобы добить его. Смелый вспомнил, как он победил страшного убийцу Кровожадного Хари, и с отрывистым злым лаем бросился к браконьеру Джери.

Джери испуганно обернулся на лай. Вскинул ружье к плечу и выпалил из обоих стволов по собаке.

Сгустком пламени ударило Смелого в грудь. Он упал в траву. И без стога, уже ползком продолжал идти на бандита. Тот поспешно зарядил ружье вновь, взвел курки. И стал целиться Смелому в голову.

Смелый обливался кровью, царапал землю когтями и все ближе подбирался к браконьеру Джери. Он видел злобную ухмылку на лице этого негодяя. Видел, как его палец лег на спусковой крючок. И понимал: не успеет до выстрела схватить его, вцепиться ему в горло клыками.

В этот момент никем не замеченный Ушастик в акробатическом прыжке бросился на ружье браконьера. И оно подалось вниз, ударило дуплетом в землю. Джери стряхнул зайчишку с ружья и поспешно стал заряжать его снова, но тут подоспел Бурый Медведь. Накинулся на браконьера и сдвинул его в своих медвежьих объятьях.

- Ой-ой-ой! Отпустите! Больше не буду! - взмолился браконьер Джери.

Ну кто ему теперь поверит? Только не Бурый. Медведь еще сильнее сдвинул браконьера в своих лапах, подмял врага под себя. А Джери визжит еще громче:

- Спасите! Убьют! Нет такого закона, чтобы звери охотились на людей! Вы не звери! Вы бандиты!

- А ты кто? - раздалось вдруг из леса, и к озеру вышел лесник Яков, которого разбудили неурочные выстрелы.

- Я? Я? - растерялся браконьер. - Я Джери!

- Бандит, вот ты кто! - сказал лесник. - Я за тобой уже два месяца охочусь. А ну, сдавайся в плен!

И браконьер Джери, отпущенный из лап Бурого Медведя, сдался леснику Якову в плен.

Медведь подошел к Смелому и склонился над ним:

- Сильно болит?

- Нет, не очень. Терпеть можно.

- Ну-ну, терпи и не горюй. Поправляйся поскорей и продолжай ловить преступников, а то мне не с кем будет бороться один на один.

- Я постараюсь, - обещал Смелый.

- Конечно, он постарается, - поддержал учителя Ушастик. - Ведь мне еще многому надо у него научиться.

- Тогда сделаем так, - сказал Бурый Медведь. - Я отнесу Смелого в лесничество, где его быстро вылечат. А ты, Ушастик, подежурь возле Лося, помоги ему.

- Будет исполнено! - четко ответил Ушастик.

Бурый взвалил раненого пса на спину и понес его в лесничество, вслед за лесником Яковым, который вел взятого в плен браконьера Джери.

А Ушастик остался вместе с Лосем, поил его водой, кормил сеном, бережно прикладывал подорожники к ранам. И выходил зверя.

Ефим Гаммер. Иерусалим.

О С Е Н Ъ

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

К. Бальмонт.

Тузик и его друзья

ИГРА В ИНДЕЙЦЕВ



Раннее утро. На Шумном Дворе тишина. Лучи солнышка пробежали по веткам Леопарда и запутались в кружевных листьях. Но один лучик, самый яркий и самый весёлый, спрыгнул вниз, и уже хотел будить гномиков, как вдруг их услышал шёпот:

- Эх, и ничего-то интересного на Шумном Дворе не бывает, - вздохнул Говорилка.

- Давай что-нибудь придумаем, - пробормотал сквозь сон Бублик; ему очень хотелось спать, он зевнул и повернулся на другой бок.

Неожиданно Говорилка подскочил в кроватке:

- Есть! Придумал! Мы будем играть в индейцев...

От удивления Бублик сел в кроватке. Во все глаза уставился на братишку.

- Индейцы, вигвам, перышки на голове, - радостно рассмеялся он. - Это хорошо. Надо припасы сделать.

Гномики быстро оделись, умылись, и бегом во двор - к

Тузику и Матильде Леопольдовне.

- Детки, а кто завтракать будет? - выглянула во двор мама-Иголочка.

- Ничего, пусть побегают, аппетит лучше будет, - успокоил её дедушка-Помахайкин.

Тем временем гномики обошли Шумный Двор. Тузик нашёл подходящее место для индейского лагеря. Вместе друзья набрали веток, и начали строить вигвам. Матильда Леопольдовна попросила у Рябушек и сорок птичьих перьев, и села за работу. Она смастерила не только головной убор, - она также пришила перья к рукавам и штанишкам Бублика и Говорилки. Тузик уже приготовил лук и стрелы - игрушечные, конечно.

Золотой лучик наблюдал за вознёй во дворе. Ему надо было бежать дальше по небу, потому что солнышко поднялось высоко. Но вдруг он увидел, что гномики сложили возле вигвама небольшую горку из сухих веток и листьев. «Не иначе, как малыши хотят развести костёр!» - догадался лучик. Он строго сверкнул и сказал на прощание:

- Смотрите, малыши: сейчас нельзя разводить костры даже взрослым. Опасно. Потому что давно не было дождя и вокруг сухо. А детям... - им вообще не *нельзя* трогать спички!

Бублик и Говорилка дали честное слово, что спичек не тронут, огня разводить не будут.

Лучик успокоился, и полетел навстречу солнышку.

Гномики нарядились в костюмы индейцев, надели на головы перья, и пошли завтракать. Кашу ели без фокусов. Мама-Иголочка так удивилась, глядя на послушных детей, что, хоть и не хотелось ей, а всё же позволила им ночевать во дворе. А тут ещё вступился дедушка-Помахайкин:

- Что делать! Детки растут, дух приключений... И потом - какие же индейцы без вигвама?!

Дедушка посоветовал внукам взять с собой припасы - мешочек бубликов и кружку молока, ведь ночью можно проголодаться.

- К тому же ночью холодно, - сказал Папа-Лобик и положил детям в шалаш подушки и одеяла.

Целый день играли гномики во дворе - стреляли из лука в баночки, которые расставил для них Тузик. Рассматривали перья на своей одежде, на голове, проверяли вигвам.

После обеда, когда пришло время укладываться спать, Бублик подошёл к маме-Иголочке.

- Ты только не бойся без нас спать, - сказал гномик, целуя маму, - мы с Говорилкой будем совсем рядом...

- Если придёт бизон, - добавил Говорилка, мы тебя спасём.

Наконец солнышко спряталось за деревьями. На Шумном Дворе стало тихо: попугаи и сороки устроились на ветках дерева; в курятнике чуть слышно охали Рябушки; в домике под Леопардом погас свет.

Тузик и Матильда Леопольдовна улеглись возле двери вигвама: они собирались сторожить детей. Скоро оба захрапели.



Бублик и Говорилка почти с головой забрались под одеяло, только носы торчали. Но им не хотелось спать. В хижине из веток было уютно, но всё же страшновато: они не привыкли спать ночью одни, да ещё во дворе...

- Бублик, а, Бублик, ты спишь? - раздался тихий шёпот Говорилки.

- Нет... А ты?

Скоро малышам стало холодно, захотелось есть. Они принялись уплетать бублики. Потом выпили молоко. И вдруг Говорилка захныкала:

- Мне хочется домой, в тёплую постельку.

Бублик тоже повесил нос. Но потом подумал, и сказал:

- Индейцы греются у костра. Сегодня мы тоже индейцы...

- Мы же обещали спички не трогать, дали честное слово, - удивилась Говорилка. - И потом, Тузик их всё равно спрятал...

- Он спрятал, а я нашёл, - признался Бублик: - у него под лапой. - Мы же остороженько...

Гномики вылезли наружу. И вот, ночью возле вигвама заплясал маленький огонёк.

Малыши смотрели на костёр и радовались, долго шёпотом переговаривались. Огонёк прыгал, бросая вокруг оранжевый свет. Вдруг малышам показалось, что во дворе кто-то ходит.

- Это бизон! - в страхе вытаращил глаза Говорилка и полез в убежище вигвама.

- Мы же индейцы, мы его не боимся! - задрожал Бублик, и тоже спрятался под одеялом.

Незаметно гномики заснули.

А костёр... ему скучно стало: огонёк плясал, плясал, да и перепрыгнул с веток на сухие листья, а там и траву... Если бы не Тузик и Матильда Леопольдовна, дело могло кончиться плохо.

Услышав запах дыма, Тузик насторожился. Вскочил. Разбудил Матильду Леопольдовну.

- Где гномики? - коротко пролаял он.

- Спят, конечно, - зевая, потянулась белая кошка, и вдруг забеспокоилась: - что-то детей не слышать, а возле вигвама огонёк... - И вдруг, быстрее молнии, Матильда Леопольдовна схватила ведро, набрала воды, и кинулась тушить костёр.

Тузик с лаем кинулся к вигваму. Начал было будить Бублика и Говорилку. Но малыши крепко спали. Тогда он схватил Бублика за штанину и поволок к Леопарду. Потом вытащил из вигвама Говорилку. В это время Матильда Леопольдовна заливала водой костёр...

Наконец огонь потушен. Для большей безопасности, Тузик набросал сверху земли. А потом... Тузик - этот милый, добрый, любящий пёс - он был так сердит на Бублика с Говорилкой, что взял ведёрко и окатил спящих проказников водой.

Гномики разом подскочили и начали протирать глаза.

- Негодники, р-рав, р-рав! - тихо рычал Тузик. - Сами чуть не сгорели, и домик под Леопардом едва не спалили...

Матильда Леопольдовна дрожала от страха:

- Из-за вас и Рябушки могли пострадать... Вы же знаете: детям играть с огнём н е л ь з я!

- Мы больше не будем! - заревели Бублик и Говорилка. - Только маме с папой не говорите.

- Мы с Матильдой Леопольдовной жаловаться не будем, - сказал Тузик. - ВЫ САМИ утром им всё расскажете.

Стыдно было гномикам, но делать нечего: пришлось рассказать всё как было. Просить прощения.

Узнав о том, что ночью натворили дети, мама-Иголочка едва не упала в обморок.

Папа-Лобик долго сидел с опущенной головой:

- Вы нарушили честное слово! Честное! - грустно сказал он. - А костёр...

Сейчас, когда так давно не было дождей и вокруг сухо, даже взрослые не разводят костров...

Всегда ласковый, дедушка-Помахайкин сказал строго:

- Мы вас очень, очень любим, детишки. НО поступили вы плохо. И ваш поступок заслуживает наказания: убирайте вигвам; снимайте перья; отдайте Тузику лук и стрелы; никаких больше игр в индейцев! Пока не поумнеете...

А потом все долго ласкали-целовали Тузика и Матильду Леопольдовну:

- Спасибо вам, милые друзья: вы спасли наших шалунов от большой беды...



СОДЕРЖАНИЕ

Пожар Москвы в 1812 г. (поэма, Н.М. Штров)	1
Ген.-фельд. светл. князь М.И. Голенищев-Кутузов (очерк, А.Г. Сидоров)	3
Могила (стих. А.С. Пушкин)	3
Книга тихих созерцаний (статьи, И. Ильин)	6
Осенний этюд (стих. Б. Юдин)	7
Эскадрон не вернётся... (стих. С. Гора)	8
Пепельница из черепа (стих. М. Колосова)	8
Кассандре (стих. О. Мандельштам)	8
О, подлое, чудовищное время... (стих. П.Ф. Якубович)	8
Выслужился (рассказ, Тэффи)	9
Осень (стих. В.С. Нагель)	11
Маленький роман (рассказ, И. Бунин)	12
Счастливый билет (рассказ, И. Безрук)	16
Москва слезам не верит (стих. С. Гора)	18
В золотистом, зардевшемся... (стих. Л. Андерсен)	18
Я ветви яблонь... (стих. Черубина де Габриак)	18
Тайна русского слова (статья, В.Д. Ирзабеков)	19
Октябрь уж наступил (стих. А.С. Пушкин)	20
Капитан Кук (рассказ, Гусев-Оренбургский)	21
Сумеречный день (миниат. А. Смирнов)	25
От редакции (Т.Н. Малеевская)	26
Надежда Николаевна (рассказ, Вс. Гаршин)	27
Вдохновение (стих. А.С. Хомяков)	34
Красавицы (рассказ, А.П. Чехов)	35
Утро в сентябре (стих. А. Ачаир)	38
Шумит листвою... (стих. Л. Андерсен)	38
Иоанн рыдалец (рассказ, Бунин)	39
Утешение (стих. А. Ачаир)	41
Осенние песни (стих. Д.Глушков-Олерон)	41
Письма читателей	42
Есть в осени первоначальной (стих. Ф.Тютчев)	43
Закружилась листва золотая (стих. С. Есенин)	43
Перед дождём (стих. Некрасов)	43
Рекенштейны (роман, окончание; В. Крыжановская)	44
Она лукаво улыбалась... (стих. А.С. Хомяков)	50
Следопыт (продолжение сказки, Е. Гаммер)	51
Осень (стих. К. Бальмонт)	52
Тузик и его друзья (сказка, Т. Малеевская, рис. автора)	53

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская; А.П. Кокшарова.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - (07) 3161-49-27, в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимирской церкви (Рокли) в Брисбене, в киоске Покровского Кафедрального Собора в Мельбурне, в киоске Св.Покровского храма в Кабраматте, а также у следующих лиц:

Э.И. Городилова (02) 9727-69-87,

З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

Рисунки на обложке и к избранным текстам (иниц.) – работы Т. Малеевской (Попковой).



ВНИМАНИЕ !

Вышла в свет книга Татьяны Ерохиной на русском языке,
в авторском переводе

РОСЛА РУССКОЙ В КИТАЕ

За справками обращаться к автору: terohina@fea.net

Английскую версию книги по-прежнему можно приобрести -

www.amazon.com или www.iUniverse.com
Lea.griffin@iuniverse.com и Lea Griffin @ Extension 8131

GROWING UP RUSSIAN IN CHINA -Tatiana Erohina издание iUniverse.
ISBN978-1-4620-5592-0

Phone: 1-877-820-5395 Toll-free: 1-800-AUTHORS (288-4677)
FAX: 812-355-4085 International: 00-1-402-323-7800

Электронная версия: ISBN 978-1-4620-55935-7, copy right 2011.

На iPad – см. издательство на сайте, или звонить –
1-800-288-4677 extension 5045 PID360819



За справками обращаться по тел.
(07) 3161-49-27 (02) 9727-69-87



Сайты связанные
с журналом «Жемчужина»



Электронная версия журнала «Жемчужина»
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

Новый сайт «Русское Зарубежье», посв. Харбинцам
и послевоенным эмигрантам из Европы –
<http://russkojzarubezhje.yolasite.com>

Литературный кружок «Жемчужное Слово»
<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>